



Юлий
КРЕЛИН

Исаакские

а Повесть о русском враче,
н родившемся в Советской стране
и евреем и удачно прожившем
в этом месте и в этом времени
до своего юбилея...



Юлий Крелин
Исаакские саги

«Книга-Сэфер»

2012

Крелин Ю. З.

Исаакские саги / Ю. З. Крелин — «Книга-Сэфер», 2012

Юлий Зусманович Крелин (1929–2006) После долгого перерыва к читателю возвращаются книги Юлия Крелина. Один из самых читаемых писателей «золотого века» советской литературы, он до последних дней оставался практикующим хирургом. Юрий Рост написал о своем друге: «Крелин никогда не выключает телефон. Потому, что он доктор, он хирург, который перелечил пол-Москвы. Он надежен, профессионален, безотказен. Крелин никогда не запирает дверь. Потому что он друг. Иногда он засыпает в кресле. Потому что друзья встают, когда хотят, а он в половине шестого – больные ждут. Крелин никогда никого не судит. Потому что он философ и писатель. Он размышляет на бумаге, и его книги любимы в среде врачей (там они буквально на столах) и в других не агрессивных средах». Над "Исаакскими сагами" Юлий Крелин работал до последних дней. Рассказы, некоторые из которых были напечатаны в журналах, объединившись, стали одной из самых пронзительных, искренних, честных повестей писателя. С предельной откровенностью, торопясь выговориться, он повествует о жизни и смерти, любви и сексе, благородстве и предательстве, врачах и пациентах... обо всем, что составило судьбу Писателя и Врача Юлия Крелина.

© Крелин Ю. З., 2012

© Книга-Сэфер, 2012

Содержание

Юлий Крелин (1929–2006)	5
Потапыч и Иссақыч	8
Как наше слово отзовется	14
Утраченные обстоятельства	19
Отпуск	23
Дружба	30
Паравоенные мемуары	35
Последовательность	39
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Юлий Зусманович Крелин
Исаакские саги
Повесть о русском враче, родившемся
в Советской стране евреем и
удачно прожившим в этом месте и
в этом времени до своего юбилея...

Юлий Крелин (1929–2006)

Путь врача в литературу недолог и зачастую успешен. Наверное, способствуют этому качества, приводящие в медицину: умение выслушать, разглядеть за частным симптомом общее явление, проанализировать жизнь человека и отметить «критические моменты», приведшие к развитию неприятностей. А может, наоборот – обилие той живой ткани, из которой сплетается сюжет, возбуждает зуд в пальцах, а там уж – как известно, «пальцы просятся к перу, перо к бумаге» и пошло-поехало... Недаром, главный документ в медицине называется «Историей болезни». Ну а где история, там и истории...

Список медиков, чьи биографии разбираются по годам и произведениям на литературных факультетах, бесконечен. Приводить его, даже частично, просто безвкусно. Да и смысл это имеет весьма сомнительный.

И все же есть некая общность в упомянутом выше реестре: почти все начинали с записок врача. Написал такие записки и мой коллега по научным исследованиям (назовем его НН). Собственно, грех ему был бы не пойти в литературу. Сын декана журналистского факультета, он с детства общался с корифеями пера, обсуждал с ними на равных нашумевшие произведения, критиковал их за «косность», «отсталость» и «рутинерство», громко спорил и отстаивал на примерах из зарубежной литературы свою точку зрения. «Мастодонты» – ругал он их. Корифеи довольно причмокивали губами-многое из того, что он говорил, было им незнакомо: их учили на произведениях Фадеева, Николая Островского, Серафимовича и Шолохова. Публикация Цветаевой в те годы была редакторской смелостью, а Высоцкого – вызовом.

В медицину товарищ пошел в порыве юношеского максимализма – хотел заниматься «настоящим мужским делом», а не «словоблудием». Отец, воспитавший не одну плеяду партийных песнопевцев, был вхож всюду, и путь моего друга в незнакомую науку был усыпан не шипами, а скорее – розами. Впрочем, и сам он был далеко небесталанен: раскованность мышления, общий кругозор и целеустремленность дали ему возможность не только успешно окончить медицинский институт, но и сразу же поступить в аспирантуру, заинтересовав будущих научных руководителей своими смелыми взглядами на проблемы. На том-то этапе и вышла у моего товарища в весьма престижном (хоть и не столичном) журнале подборка рассказов с интригующим названием «Заметки непостороннего». В этих заметках довольно ловко, не без иронии описывалось происходящее в медицине. Публикация была в виде писем сокурсников, уехавших по распределению в глубинку, причем, повторю, были эти «заметки» какие-то ладные, написанные очень четким слогом, что просто не могло не бросаться в глаза. Однако бросилось в глаза и другое. Несмотря на название, отсутствовало в рассказах личное отношение к происходящему. Создавалось впечатление, что пишет как раз «сторонний наблюдатель», пишет без эмоций, без размышлений, без анализа. Без попытки увидеть в обыденном вечные

проблемы. Без всего того, что, собственно, и является основой литературы. И это мне было понятно. И не только мне. Вечером на семейном празднике по случаю публикации разгорелась обычная дискуссия, но на этот раз досталось – и крепко – самому виновнику торжества. Причем досталось от недовольных «мастодонтов»: «Писать надо подробно, чтоб материал ощущался на вкус». Он не сдавался. «Да кто сейчас, в наше время так пишет?». И получил ответ – «Крелин».

Наверное, Юлий Крелин родился под счастливой звездой. Ему удалось состояться в двух ипостасях сразу: врача (а практиковал – и успешно – он до последнего дня своей некороткой жизни) и писателя, ставшего читаемым с первой своей публикации. Да что там читаемым, его произведения экранизируются (телефильм «Дни хирурга Мишкина» уже 30 лет не сходит с экранов), их разбирают на цитаты, изучают литературоведы.

Впрочем, звезды несчастливыми не бывают. Удачные обстоятельства складываются постоянно, вот только почувствовать мы их можем не всегда. Юлий Крелин смог. Родившись в Москве в конце первой трети прошедшего века, он проникся тем своеобразным духом этого города, который не дает покоя и все время торопит жить.

Римляне верили в существование *Genius loci* – духа, живущего в определенном месте. И силен же он был в советской столице, коль не задавили его ни революция, ни красный террор, ни ежовщина, ни систематическая борьба с наукой и культурой, ни планомерное уничтожение самых талантливых, образованных! Так и тянет написать – «цвета нации».

Да только какой нации? Всем досталось. Ну а евреям под занавес – борьбу с космополитизмом да «Дело врачей». Показалось, что иссякла энергия Гения Места. Дальше пустота...

Тут-то неожиданно и возник Гений Времени (назовем его по аналогии *Genius temporis*). Семь лет оттепели. Как уверенно вбитые в мишень семь точных попаданий. А после них можно говорить что угодно. Уже написано, издано, исполнено, сказано, спето. И маленький, недолгоживущий гений радостно хлопает в ладоши и хохочет над своими недоброжелателями. Он отравил им будущее, щедрой рукой разбросав семена: «Новый Мир», ленинградскую плеяду «ахматовских мальчиков», бородатых сибирских романтиков-«физиков и лириков» и всех тех, кто своей индивидуальной сутью взорвал тщательно удобренный миф об аморфной массе, высокопарно называемой «единым советским народом». Уже стало возможно без опаски говорить о приоритете личного над общественным, о конфликте между долгом и моралью, о праве выбора.

Нет, определенно повезло Юлию Крелину! Родись он лет на пять раньше, и ушел бы на фронт. И слетела бы к нему на плечо Муза военная. И писал бы он про чувство долга, про «дело, которому служишь», про ратный подвиг и гражданский подвиг. Писал бы, наверное, небезуспешно – так, как это делали до него многие. Наверное, и награды какой удостоился бы. Любили в Советском Союзе такие штампы: «Боец, писатель, коммунист».

А может, и случилась бы неприятность. Из тех, что ходит за врачами постоянно. Скажем, полечил какого генерала, прооперировал его – а тот возьми да и умри. Судьба-известно-не кафтан. У того беды жизненные закончились, а у хирурга только начались. Вот тебе и «врач-вредитель». Вот тебе и Муза лагерная с ее железными зубами да слезами в подушку. Вот тебе и друзья-писатели, что бараки вспоминают всю оставшуюся жизнь. И немало их и по всей шестой части суши, и в Германии, и в Израиле, и в далекой от Москвы Америке. И был бы он один из них.

А мог бы Юлий Крелин родиться и попозже. И не знал бы ни войны, ни голода, ни антисемитизма. Рос бы в полной уверенности, что Сталин-это плохо, а Ленин – хорошо. Мог бы писать про нежные ростки демократии, про ретроградов в медицине, про новаторов, побеждающих в трудной борьбе косность и невежество. Мог бы... Но ему повезло.

Совпали чудесным образом Место и Время. Сначала военное детство, медицинский институт на фоне уже не добром упомянутого «Дела врачей», затем больничные круглосуточ-

ные будни. Московская больница второй половины прошлого столетия, пристанище боли, горя и надежды, стала Музой уже не врача Юлия Зусмановича Крейндлины по кличке Крендель, а замечательного писателя Юлия Крелина. Музой, открывшей ему за обыденностью врачебной службы такие философские глубины, что поднялось его творчество на высоту Литературы. Два десятка повестей вошли в классику. И дело не только в афористичности текстов (а это тема отдельная!) – просто до него о врачах писали иначе. И о больных писали иначе. И о болезнях писали иначе. А стало быть, и о жизни нашей писали иначе.

Повезло, ох как повезло Юлию Крелину! Будучи и врачом, и писателем, стал он врачом писателей. Наблюдая изнутри (а зачастую и в буквальном смысле этого слова) жизнь людей творческих, он, как мало кто другой, смог увидеть за калейдоскопом лиц и событий некий единый образ поколения, в котором слились и подлость, и благородство, и всепроникающий страх, и стремление к свободе слова, и патриотизм, и «вселенский» взгляд, и чинопочитание, и клоунада, и высь и низ... И жизнь оказалась непроста и память непряма. И оказалось, что «времена не выбирают». И нет ничего такого, что оценивалось бы однозначно. Человек живет и работает и совершает какие-то поступки, которые считаются правильными, а потом их считают неправильными, а потом снова правильными. И чем более он на виду, тем больше его судят. А мораль общественная меняется, и меняется она каждые несколько лет. И те, кто судят, уже судимы сами. Книга воспоминаний «Извивы памяти» не грешит объективностью. Она отражает взгляд писателя на своих коллег. И при всем явном нежелании давать оценки, Юлию Крелину не удалось остаться беспристрастным, да и нужна ли беспристрастность в творчестве? Но и в небеспристрастности своей удалось ему пройти по той, иной раз почти неразличимой, кромке, отделяющей личный взгляд на человека от подглядывания за ним. Острые наблюдения и нелцеприятные воспоминания лишены злорадства и недоброжелательности.

Повезло, ох как повезло Юлию Крелину! Мало, кто из евреев-писателей, возвращенных в «эпоху застоя» смог написать что-либо путное об Израиле. А он написал. Непростую, спорную во многом книгу «Народ и место». Да и спорную ли? Скорее, спорящую. Со своими друзьями по творчеству, воплощающими идеалы демократии и космополитизма, с глубоко религиозным сыном, отвергающим секулярный сионизм, со своей антирелигиозной жизнью московского ассимилированного еврейского интеллигента. Отличается она от многих, написанных до него «путевых заметок». Отличается сбивчивостью, путанностью, страстным желанием пробраться сквозь заросли неразрешимых проблем, вопросов без ответов, мимолетными прозрениями, заблуждениями. Отличается всем тем, чем разнится живая речь от сочинения на заданную тему.

Удалось и тут сказать свое слово. Слово личное. Только ему данное. Потому что, как и все, написанное им, проникнуто искренностью и неравнодушием. Тем, что иначе называется любовью.

Повезло Юлию Крелину...

Потапыч и Иссагыч

Каждый раз по дороге на работу, когда мимо промелькивает на невысоком пьедестале небольшой бронзовый человечек с посохом, на поверхность непредсказуемой и прихотливой памяти моей выплескивается постоянно одно и то же. Единственное, что делает мою память предсказуемой, – это место. В определенных местах я часто вспоминаю одно и то же или одних и тех же и с завидным постоянством в одном и том же повороте событий (или, как нынче чаще говорят – короче, красивее и не по-русски – в одном и том же ракурсе). Воспоминания красят место – не в смысле украшают, а дают определенный цвет и настроение.

Однажды утром у себя в отделении, когда я снимал свой партикулярный костюм и влезал в халат, а глазом ползал по столу, забросанному историями болезней и газетами, я проскочил взором, озабоченным невесть чем, заметочку в каком-то обрывке, что у бронзового Ганди украли его бронзовые очки.

И всякий раз я вспоминаю про это и тшусь разглядеть – не появились ли новые очки, которые, как было обещано в том же обрывочке, скульптор обязательно восстановит.

(Ну-ну. Пока Ганди ничего не видит...) А я каждый раз дивлюсь и этой вспышке воспоминаний, и той эстафете иных, как правило, обязательно последующих всплесков прошлых образов, событий и людей. И при виде памятника я каждый раз вспоминаю прочитанную дикость и дивлюсь бессмысленным и беспощадным проявлениям удалства и идиотизма. А может, это сродни поступку Манолиса Глезоса в дни оккупации Греции, водрузившего знамя над Акрополем?

Ну кому, скажите пожалуйста, понадобились эти очки? Ведь на другой памятник, где-нибудь на каком-нибудь кладбище, кому-нибудь из близких своих его ж не приладишь. И даже соседке его по площади, несмотря на сходные размеры, Индире Ганди, тоже они не подойдут. Может, для того очки и унесли, чтоб я включал свою голову, проносящуюся мимо на автобусе или в автомобиле, и раздумывал и вспоминал бы обо всем.

Мелькнет мимо Махатма Ганди, невидящий и неведающий, куда ж он привел народы своего субконтинента, прокладывая им путь к свободе через ненасилие и мирное неповиновение. Где оно там, на полуострове, ненасилие и мирное сосуществование? Сколько ж времени прошло? Сколько ж я уже живу? Казалось бы, все совсем недавно было. Я был юношей, и мы читали и, по мере сил и возможностей тех лет, следили за этим победным ходом ненасилия. Они победили, и теперь все его последователи продолжают брести... бежать той же дорогой, но уже с войнами, убийствами, террором и все большим и большим разобщением.

И все ж это был путь завидный, дающий надежду... Неужто и впрямь, каждый сам должен выкурить свою трубку опыта, сам подышать дымом постоянного страха неожиданной смерти посреди солнечного веселья или, наоборот, в ожидании вот-вот проклюнувшегося сквозь мрак, смрад и смог, луча солнечного света и чистого воздуха?

Мне остается вспоминать совсем иное, но по неисповедимым путям памяти эти мемуарные события с неизбывной закономерностью возникают в моей голове постоянно после всех размышлений, оттолкнувшихся от Ганди и его отсутствующих очков.

Да... Так вот Степан Потапыч... После операции он лежал тихий, и поскольку болезнь была серьезной, то сердобольные сестрички не жалели для него обезболивания.

Хотя это проблема, потому что с самого нашего детства внушали всем, будто наркомания идет из-за бесконтрольного употребления лекарств и источник наркотиков медицинские учреждения. Поэтому нас заставляли ограничивать необходимые средства, облегчающие жизнь страдающим, и контролировали каждое движение с ампулами. А в результате, – чем связываться с начальством, пусть уж лучше больной потерпит. А еще в результате – осложнения,

воспаления легких, психическая неуравновешенность... ну и так далее. Так что от сестер много зависит. Скажет ли она врачу, как посмотрит на страдания лежащего перед ней на койке?

Степан Потапыч был нормальный алкоголик, известный в районе нашей больницы. Работал он грузчиком на продовольственном районном складе. Всегда был доволен жизнью, не роптал, а потому, наверное, ему что-то перепадало со склада для удовлетворения его страстной и пагубной потребности. Но она уже есть. А стало быть, удовлетворять ее надо – ведь болезнь.

И болезнь, что привела его к нам, тоже родом из страны Алкоголии. То был алкогольный панкреонекроз. То есть, в переводе на великий и могучий со сладостью гишпанского, или, как там он квалифицируется Ломоносовым, омертвление поджелудочной железы за счет неумеренного ли питья или некачественной закуски, а то и какого-нибудь суррогата водки или спирта. Так или иначе – он был очень тяжел, начинался перитонит, падало давление, плохо работало сердце. Мы вынуждены были его оперировать. Он сначала долго лежал в реанимации, потом перевели к нам в отделение. Рана послеоперационная на месте тампонов и дренажей, естественно, заживала долго. Но, тем не менее, его удалось выходить. Он у нас выжил. Был тих, мил и добродушен. Лишь порой злым словом поминал эту гадость, которой он отдал всю жизнь, и утверждал, что только при виде бутылки, даже с лекарственными этикетками, ему сразу становится плохо. "В жизни не возьму эту стерву в рот". К водке он относился как к живому существу, с которым у него личные счеты – он "еще ей покажет, она его еще узнает!" Что он имел в виду – мы не допытывались. Все были уверены, что с прошлым завязано, тем более, на его глазах в соседней палате умирала молодая женщина от такого же алкогольного несчастья. Умирала она тяжело, и ему было особенно худо, потому как он не раз встречался с ней у магазинов, и не раз подъезды и подворотни давали им пристанища при очередных, их нередких совместных, ну, скажем, "суаре", или, если учесть американизацию нашей жизни, при их около-магазинных "парти"; а, учитывая послерабочее время собраний, вполне можно бы обозвать это и "файв оклок'ом". Ну, да ладно... Короче, она умерла, и, разумеется, это его повергло в полный ужас.

В последние дни пребывания в отделении он со всеми вошел в доброжелательный, тесный контакт. Всех полюбил, и был любим всеми. С чем и выписался, провожаемый напутствиями и пожеланиями.

Видимо, считая, что должен реваншироваться за те милосердные услуги, оказываемые ему у нас, да еще за пребывание в невиданном им доселе почете, он явился к нам с благодарственной бутылкой для всего персонала. У них у всех лишь одна мера и форма благодарности.

Возможно, куплена, или где-то получена им не одна бутылка, так как было явно вновь горячее и боевое состояние его духа, от него исходил знакомый аромат, пластика его была несколько некорректна, речь невнятна и, как говорится, артикулирована, чтоб лучше его понимали. "Искакыч, мы должны... я должен... все должны выпить сейчас за мое здоровье". Сестры пытались его увести, приговаривая, что недолго свинья лужу искала... Но он упирался, размахивая бутылкой, то ли словно знаменем полковым, то ли вроде бы это граната, что сейчас должна полететь в конфронтационный окоп.

"Потапыч, отдай бутылку. Ты же ее нам принес?" "Вам. И выпить с вами. А вы отнимаете". "Ты ж хотел с доктором выпить, а он идет на операцию. Иди, а бутылку нам оставь". "Да, перед операцией нельзя – это тебе не мешки таскать или там за рулем если!" Дискуссия не открылась по поводу уместности и степени обоснованности его демарша, но бутылку забрали, а самого выпроводили. Уровень обсуждений среди персонала может предположить каждый. И вспоминать его нечего и пересказывать тоже.

Потапыч время от времени появлялся и совсем не всегда пьяным, но всегда доброжелательным, с открытой душой и объятиями всем, кто работал в нашем отделении. В хулиганстве и зломном непослушании ни разу не был отмечен, а потому за силовой посторонней помощью никогда не обращались. Сестры наши легко с ним управлялись сами. Несмотря на то, что все снова ожидали повторения его прошлого страшного недуга, он, тем не менее, с подобным ни

разу больше не обращался. Но в отделении все ж говорили: "Подожди, голубчик, скоро тебя, паразита, опять прихватит. Ужо тебе!" Не зная, они цитировали пушкинского Евгения перед озверелым державным Медным Всадником. Ужо не ужо, а панкреатита все ж к радости всех участников больше пока не было.

И вот однажды Потапыч пришел в отделение снова тих и вежлив, как современная девушка перед патриархальными и архаичными сватами. И пошел прямо ко мне в кабинет – строго по прямой и, не отвлекаясь на естественные для его привычного состояния любые проявления нормальной для остальных жизни. "Допрыгался. Началось", – журчал за его спиной перелив словесного ручейка со всех постов бдящего персонала.

Ан нет. "Иссакач, грыжа замучила. Может, отрежешь, а? Как выпью, так совсем спасу нет никакого". Я с ним елеино поговорил, понудил про вред питья, взял слово, что до операции сделает перерыв в своей коронной необходимости. Ну и куда деться – грыжа есть, стало быть, и операция нужна. А при его грыже, когда я расспросил да посмотрел, понял – операция необходима и неотвратима.

За час до операции я подошел к нему с последним напутственным словом. И кто меня дернул за язык!

"Потапыч, с питьем надо кончать. Беда не за горами. Я даже боюсь операцию делать. Помрешь, а мне отвечать". "А чего ж делать, Иссакач? С грыжей я больше не могу, а не пить не получается. Вот Колька у нас бросил. К нему и не пристаю. Это как за рулем. Нашим шоферам, когда ехать – ну никогда. Им даешь, а они на руль кивают. И никто не пристаёт". "А что Колька? Не понял". "А ему подшили, эту, спираль какую-то. Ну, обсмеешь над ним. Ну, как от беременности спираль. Ну, понял? Подшили, в общем". "И не пьет?" "Ни граммулечки, ведь и никто не пристаёт. Ну, как к святому делу. Подшит и все. С нами попиздит в подъезде, а сам не примет ничего. Ну!" "Потапыч, так давай и тебе подошьем" "Так это надо куда-то ехать. Какие-то курсы. Чего-то делать. Да и где? И на учет сразу. Это умрешь и сопьешься, пока подошьешься". И Потапыч, несмотря на предстоящую через час операцию, стал хохотать и много раз повторять: "сопьешься, пока подошьешься". "Да ладно тебе смеяться. Боишься ты просто". "Да что ж бояться?" "Тебя подошьют, а ты выпьешь и помрешь. Боишься". "Ты меня, Иссакач, на понт не бери. Если б сразу – я бы сразу". "Ну, давай сейчас во время операции и подошьем. Слабо ведь?" "Давай. Не слабо. А у тебя есть эта спираль-то?" "Конечно. Только скажи. И лишний раз резать не надо. Грыжу будем резать и подошьем" "Все, Иссакач. Заметано. А с меня пузырек. Договорились".

Операцию я делал под местной анестезией, так что разговаривал с ним. Ему вкололи наркотик – он лежал под кайфом и благодушно со мной разговаривал. Перед последними швами я склонился над ним за занавесочку: "Ну, что, Потапыч? Как уговорились? Вшиваю?" Кайфующему, как говорится, море по колено: "Все. По уговору. Валяй, Иссакач... родной". Сначала он говорил, словно рубашку на груди рвал: "Валяй!" "Иссакач" – уже более раздумчиво. А уж "родной" почти плачуще. Забоялся что ли? Но с тропы войны не спрыгнул. Правда, уж теперь до конца операции молчал. Да она уже и кончалась.

Конечно, я ему ничего не вшивал. Да у меня и не было ничего. Да я и не понимаю в этом ничего. Да и вроде бы нарушение прав человека. Право это, так сказать, защита слабого от сильного. Как раз тот случай. Да еще и обман, черт возьми! Короче, ничего я не подшил, но обман, игру продолжил.

Часа через два я подошел к Потапычу с листком бумаги. "Ну, как, Потапыч, дела? Не больно?" "Все путем, все путем, доктор. Тогда хуже было". Я думаю! Один вид реанимации может привести состояние к самому низкому градусу. А если человек активно реагирует на жизнь, то наша реанимация особенно, где тебя не считают за активно действующего индивидуума, а лишь видят в тебе объект спасительных мероприятий, когда ни о чем тебя не спрашивают, ни о чем не предупреждают, что делать будут: от укола, туалета рта до клизмы, пере-

вязки или выноса в общую палату. "Конечно, тогда хуже. Разве эти болезни можно сравнивать? Руки работают?" "А что? Работают, а чего надо?" "Бумагу подписать сумеешь?" "Какую еще бумагу, Иссакач?"

Наш человек более всего боится бумаги подписывать. Отсутствие законов, отсутствие веры в них и полный безотчетный страх перед бумагой и собственной подписью. Изысканные парадоксы советского бытия: в стране полной безгласности до смерти боялись газет. При наступлении этой самой гласности, сгубившей, в основном, режим, напрочь наплевали на газеты. Никто их нынче не боится, и ничего они сейчас сделать не могут. Разве только что направить общественное мнение. А снять, скажем, какого-нибудь директора... ни черта. Но время было еще советское, и мой Потапыч, несмотря на, так сказать, самый ранний послеоперационный период, вздрожал дрожьмя лишь от малейшей необходимости в какой-то подписи. У нас больные также боятся подписывать согласие на операцию. Поэтому мы порой и отказываемся от этого, хотя по закону обязаны.

"Какую еще бумагу, Иссакач!?" "Ну, мы ж тебе вшили спираль?" "А бумага зачем?" "Заявление. Что ты просил нас". "А бумага зачем? И так все знают. А что бумага-то?" "А если ты выпьешь да умрешь – нам отвечать что ли? Скажут, что ты не знал. И все – мне отвечать по суду". "Да как не знал, Иссакач! Да кто ж скажет?" "Твои же собутыльники, коллеги. Ты им веришь?" "Им?! Нипочем!" "Ну! Вот и подписывай, что сам просил". "Слушай, Иссакач, а ты не поторопился? Может, зря подшил-то?" "Ну, вот видишь! А ты говоришь, зачем подписывать? Теперь уж все – обратно не вытащишь. Что вшито с ножом, то не вырубешь топором. Подписывай, подписывай. Вместе будем отвечать, если выпьешь. А то на меня одного. Подписывай, Потапыч. Мы не первую операцию знакомы". "Ох, поторопился ты, Иссакач, поторопился. И что, никогда ни граммuleчки?" "Все. Теперь все. Давай договор подписывай. Ты, как Фауст, продал свою душу пьяницы". "Это кто такой?" "Ты его не знаешь. Он, доктор, подписал договор с дьяволом, а ты, бес пьющий, с доктором. Тебе легче. Хотя и ты сможешь теперь к девочкам пойти. Пожалуй, не пойти, но дойти. У тебя ж в этом была проблема? Подписывай, дорогой. Если не с дьяволом, так с масоном". "С кем, Иссакач?" "Я шучу. На ручку. Вот здесь подписывай". "Ну и шутки у тебя. Разве поймешь. Дай хоть прочесть". "Без очков прочтешь?" "Да ты что, доктор? Какие еще очки! Я ж молодой. Мне только-только пятьдесят стукнуло". "Ну и подписывай". "Все ж поторопился ты". "Значит, вместе поторопились. Прочел?" "Прочел. Здесь что ли?" "Здесь, здесь". "Только ты мне, Иссакач, сейчас укол сразу сделай. Ладно?"

Рука с ручкой еще долго висела над бумагой, то ли примериваясь, то ли беря размах, то ли ища место для подписи. Наконец, расписался и поставил точку, словно рукой махнул на все – жизнь, любовь, свободу. Подписал, посмотрел на меня с сомнением: "Все ж поторопился ты. И моей скажи, что все. Скажи прощения прошу. И укольчик сразу, Иссакач". Потапыч натянул одеяло по самое горло, смахнул слезу и закрыл глаза. Я, мол, поторопился, и аудиенция окончилась.

Больше этот разговор не повторялся. Я вступил в преступный сговор с женой его, которая обязалась ему не рассказывать про обман, но взялась подсыпать некое снадобье, чтоб рвало его даже от запаха спиртного.

Он выписался, и прощались мы с ним, как заговорщики, но он больше ни разу не усомнился, ни разу не напомнил мне, что я поторопился.

Прошло еще некоторое время. Потапыч появился в моем кабинете в чистом костюме, при галстуке, с пузатым портфелем. Не узнаешь. Ни дать ни взять доцент какого-нибудь экономического института застойного времени.

"Доктор, здравствуйте. Поздороваться пришел. Может, чего надо?" "Что надо? Мне ничего не надо. Как себя чувствуете, Степан Потапыч? Ничего не болит? Все зажило хорошо?" Дальше он оживился, как бы сбросил галстук, и снова посмотрел на меня прежним Потапычем со своим лукавым и доброжелательным глазом. "Иссакач, я теперь единственный на всей базе,

на всем складу, трезвый. Вот и карьера сразу пошла. Я теперь завскладом". "Поздравляю тебя. И, наверное, ничего не болит?" "Чему ж болеть – я ж не пью. И дома все путем. Начальник. Деньги в дом, все в дом. Дома порядок". "Жена довольна, значит?" "А то! Начальник ведь. Товар дома есть. Питание хорошее". "Небось, она больше довольна, что не пьешь?" "Пью, не пью, а колбаса в доме есть". Ну и так далее. Разговор крутился вокруг одного. У него ничего не болело, он не пил, и мне нечего было у него спросить. А он не знал, как со мной говорить, во-первых, тоже потому, что ничего не болело, а, во-вторых, потому что я у него ничего не просил, а он на этом нынче строил все свои общения. От меня он пошел по отделению, от широты своей и доброты всем предлагая купить подешевле, совсем с маленькой наценкой, колбасу, чай, еще что-то и не знаю точно что. Перед уходом он засунул голову в кабинет и из-за прикрытой двери полусшепотом прокричал: "Искакыч, может колбаска нужна? Салами, венгерская. Чай есть цейлонский". "Откуда? У тебя склад, не магазин". "Все скоммунижено, Искакыч. Все путем, не волнуйся". Я отказался. Уходя он повторил: "Если что, скажи девочкам – я сразу. Идет?"

В отделении он теперь бывал часто. Ко мне заходил редко. Однажды зашел с сильно разбухшим портфелем. Жара в те дни стояла несусветная. "Искакыч, доктор ты мой дорогой, девочки говорили, что на операции тяжело сейчас, в жару. Я тебе боржомчику принес. Все полегче будет". И выгрузил из портфеля бутылок двадцать. Я полез за деньгами расплатиться. "Да ты что, Искакыч! Это ж наворованное. Не стоит ничего". "Это как же? Это не дело, Потапыч". "Да ты что. Все по закону. Нам на бой дают. А ничего не побили. Законно". Я лицемерно поотбивался немного, но первую бутылку уже открыл и стаканчик холодненького боржомчика уже сглотнул. Газ пощипывал язык, сознание пощипывали недозволенность и чистоплюйство. Сам Потапыч от воды отказался, удобнее расположился на диванчике и стал рассуждать о законности этих бутылок. И опять применил этот идеологический термин – мол, не своровал он, а скоммуниздил. Я уточнять не стал, а просто порадовался. Термину порадовался.

"Слушай, Искакыч, посоветоваться хочу. Я теперь не пью – может, мне машину купить? Как считаешь?" "Если деньги есть, почему же не купить". "Деньги! – Потапыч вытащил из портфеля блокнот, в котором лежала большая пачка денег самыми разными купюрами. – Видишь, это я только за неделю наворовал. На машину наберу". "Скоммуниздил, значит?" "Ну! Точно". "А как объяснишь, откуда такие большие деньги у тебя?" "Ха! Ты даешь! А мать в деревне дом оставила целый. Может, наследство. И дом продал". "Правда?" "Конечно, правда. Только продал-то за копейки. Я еще пил тогда". "Ну что ж, покупай, еще вернее пить не будешь. А машину водишь?" "Да ты что! Откуда? Да ребята у нас научат. А права куплю". Конечно, мог я законопослушно маленько побрюзжать – не стал. Ведь не всегда хочется выглядеть идиотом. "Вот съезжу в Сочи, отдохну и куплю. Приеду к вам на машине. Ха-ха! Побольше бутылок привезу".

Напоив меня боржомом, Потапыч почувствовал себя более уверенно. Он как бы получил право рассуждать и спрашивать совета. Из дивана он перелез в кресло. Наверно, удобнее было обсуждать великую проблему личного транспорта, вальяжно опираясь на подлокотники. Прежде чем уйти, он еще раз предложил мне что-нибудь купить из товаров его склада. Привычно расстроился моим постоянным отказом.

...и вскоре уехал в Сочи... Ох, эти Сочи! Скольких "они" сгубили. Кого только курортный марьяж не выворачивал наизнанку. Кого пустит совсем в другую сторону. А кого и вернет на старые рельсы. Доставшаяся Потапычу дама объяснила, как надо обойти врачебные антиалкогольные баррикады, всякие там спирали, антабусы и все прочее. Сделать это, то есть обойти препятствие, оказалось очень просто, тем более что препятствие-то мифическое.

Выпил он поначалу со страхом. Ни-че-го... А потом уж, как говорится: первая колом, вторая соколом, а далее мелкими пташечками... Впрочем, и кола-то никакого не было. Все мои

масонские хитросплетения разорвались и разлетелись, словно искусственный дым в современных эстрадных шоу.

Ну и покатился наш Потапыч с завов. Потерял возможность людям помогать и бесплатно и за деньги. Уж не о чем было советовать. Временами он появлялся в отделении. Иногда встречался со мной в коридоре, но, если загодя разглядит, успевал шмыгнуть от меня куда-нибудь подальше. Стеснялся. Жалел, наверное, мою работу.

Он был уже без портфеля. А вскоре и без галстука, хотя эта принадлежность респектабельности продержалась дольше всего. А вот шляпа, словно приклеенная, осталась вроде навсегда. И как в сказке – опять грузчик.

А потом говорили, будто ушел он на пенсию. Прошли годы... Да не так уж много, да целая эпоха ушла... Я в том же кабинете, на той же должности, занимаюсь тем же делом. Кое-кто вокруг меня уже другой, а кто и тот же, да иной. А про меня пусть скажут со стороны... Короче, сижу я в кабинете...

"Искакыч! Здравствуйте, доктор мой хороший!" Мы как старые друзья повстречались. То же добродушие и радость на лице... От встречи, наверное. Да только, гляжу, на нем болезненная пижама. "Что с тобой, Потапыч? Ты лежишь у нас? Что ж я не знаю?" "Не волнуйся. Все путем. Уже выписываюсь. В терапии я". "Что, опять живот? Панкреатит?" "Нет, Искакыч, теперь у меня инфаркт был". Потапыч приосанился, понимая, что на этот раз у него болезнь солидного человека и он может со мной разговаривать почти на равных. Ну, и я готов ему в этом поспособствовать. Сели в кресла. Разговариваем. Друзья встречаются вновь...

"Давно у тебя инфаркт-то? Первый раз?" "Ну. Первый. Уже все. Здоров. Слушай, Искакыч, у меня опять грыжа. С другой стороны. Сделаешь?" "Ну, отчего ж. Конечно. Вот оклимайся от этого инфаркта и приходи. Может, опять подошьем?" "Да ты ж обманул меня, Искакыч. Жена раскололась. Вы евреи хитрые. Ну, ты молоток. Я хоть за то время прибарахлился". "А сейчас пьешь?" "А то! Конечно". "А где работаешь?" "Все, доктор. Отишачил. Я уже больше года на пенсии". "Ну и как тебе? Хватает?" "Ну! Пенсия не плохая. Хватает.

И жена на пенсии. Хватает нам". "И все равно пьешь и хватает?" "Так я "Рояль" пью. Три тысячи бутылка. Пять поллитр. По шестьсот рублей. И все путем. Дешевле, чем было. Ну!" "Так сейчас лучше, чем было?" "Нет. Сейчас плохо. Ельцин – иуда. Обманул". "Да причем тут Ельцин?" "При Брежневе лучше было". "А чем лучше?" "Колбаса два двадцать. Водка два восемьдесят семь". "Когда это было!" "А четыре двенадцать все не шестьсот". "А на ту пенсию, если б ты тогда, мог бы так же водку покупать?" "Тогда ж "Рояля" не было". "Так тебе с выпивкой сейчас легче? Политуру не пьешь?" "С выпивкой легче, а вообще хуже. Сейчас, если работал бы, – совсем не так со складом". "Пенсии хватает?" "Нормально с пенсией. На двоих". "Без выпивки не остаешься?" "Слава Богу, Искакыч". "На хлеб, молоко?" "И не только. Грех жаловаться". "Так сейчас лучше?" "Хуже, Искакыч, хуже. Помнишь колбаса! Два двадцать! Я мог принести... А сейчас... И скажу, сейчас воровство у них совсем другое. Водка – дрянь". "А "Рояль"?" "Ничего, приспособился. Сейчас так, как раньше не скоммуниздишь. Сейчас не так".

И каждый раз, проезжая мимо Ганди, я вспоминаю Потапыча. Вот и очки бронзовые зачем-то скоммуниздили. Сейчас не так...

Кажется, Тихонов написал – "гвозди бы делать из этих людей"...

Как наше слово отзовется

Небо низкое. Все вверху серо. Мелкая сеточка дождя за окном.

Рамы современные – без переплета. Мысль цепляется одна за одну. И выстраивается цепочка дум и воспоминаний всего лишь от покоя, ничегонеделания и тупого огляда за стекло на погоду и назад на прошедшую жизнь. Дурная цепочка....

А ведь раньше все окна обязательно были с поперечными переплетами. Начнется когда-нибудь мода на очередное ретро и опять пойдут окна в переплетах и поперечинах.

В такую погоду хочется лежать под одеялом и либо читать что-нибудь, либо дремать, не думая ни о чем. А в старом возрасте – вспоминать.

Я всегда норовил полежать в такую погоду, и никогда не удавалось. А если сказать: "свой норов в этом случае удовлетворять не удавалось", то смысл оказывался совсем иным. Странно – "норовить" одно, а "норов" совсем другое. Странно не то – странен ход мыслей, если это можно мыслью назвать...

А ведь вру. Удавалось и полежать. Еще молодой был – в больнице полежать довелось. Старая больница, с переплетами рам. Не такая уж и старая. Пятидесятых годов. Послевоенная. Но поперечины были. И погода плохая была. Точно, точно. Как сейчас помню. Нас было трое в палате. А за окном серо, и моросило также. Сейчас я вижу почти недвижимую решётку дождя, а тогда, там, наверняка нет: больничные окна моются только раз в году.

Я отчетливо вижу сейчас себя тогдашнего и двоих моих коллег по болезни, разбросанных по своим кроватям и вяло перекидывающихся ничего не значащими словами.

У окна с одной стороны лежал я, а у другой стены, также у окна и параллельно мне, Матвей Павлович, – какой-то ответственный советский работник, то ли из райсовета, то ли из горсовета, если только не из какого-то там партийного или народного контроля. Не то, чтобы я не помнил его должность и занятия, а просто не вникал настолько глубоко в жизнь своих сопалатников. Не было нужды. А у двери, как бы в ногах Матвея Павловича, лежал научный работник, то ли физик, то ли математик. Я почему-то не видел разницы, наверное, потому, что факультет в университете когда-то был физматом, а в школе я одинаково был слабаком, как по той, так и по другой отрасли мировой науки. А звали этого соседа Егором Павловичем.

Все больные почему-то именovali друг друга по отчеству, а вот в нашей палате произошла накладка: оба были Палычи. Потому и звали их по именам, а меня по батюшки – Иссакичем. И я получался, как бы старшим – Иссакич с Мотей и Егором. Хотя старшим и, пожалуй, прилично, был все же Матвей Павлович.

Мы все равно на улицу не выходили, но почему-то ненастная погода за стенами больницы нас приковывала к кроватям так, что мы даже в коридор носа не высывали. Разве что по нужде. Нужда гнала да покурить, если страдал этим пороком. Да не очень-то и выгонишь – терапевтические больные не шустрые, в отличие от наших, хирургических. Поскольку я лежал в своей больнице, то шустрость моя была больше благодаря, то и дело забегавшим, ко мне коллегам – хирургам, сестрам и всем, кто меня знал по работе.

А вот казус, что мне вспомнился сейчас, приковал нас к постелям еще пуще обычного. Началось с ерунды. Кто-то из моих, по дороге к себе, закинул в палату ворох газет. Мне досталась "Литературка". Егорий, его кое-кто из соседних палат Жорой кликал, соответственно, "Комсомолку" уцепил. Мотя же, как человек более солидный, развернул перед собой "Правду".

Жорий-Егорий по живости характера не мог не прицепиться. – Вы, конечно, Мотя Тезкович, начинаете читать с передовой свою главную газету? Мотя понимающе усмехнулся. – Хотя я по должности и знакомлюсь с указующими идеями и установками, но поскольку сейчас я на больничном, то и позволил себе начать с последней страницы. Мне интересно, как вчера сыграл "Спартак".

Я тоже поинтересовался вчерашним результатом, и мы, вроде бы, погрузились в чтение. Однако пытливая игривость ученого Егора не разрешила долго царствовать молчанию. Видимо, он обдумывал повод для очередной палатной дискуссии. И начал:

– А вы, действительно, считаете, что передовая "Правды" дает серьезные установки аппарату управления в нашей стране?

Конечно... Они все время подсказывают, как дышать советскому человеку и чего от нас требовать начальству. – Это я подключился.

– Ты, Исаакыч, молчи. Не твоим хирургическим извилинам подстать такая мысль... Ничего эти передовые не дают. Балаболят и все. Пустота газетная.

– Это вы напрасно, Егор Павлович. – Матвей приосанился, соорудил суровый лик, почувствовав себя представителем правящей элиты перед безликой массой управляемых, и сразу же перешел на официальное обращение по полному чину с именем и отчеством. Чтоб без ерничества. "Правда", мол, дело серьезное, а не хухры-мухры вам – Напрасно, напрасно. Я вам скажу, что передовицы "Правды" – настоящие научные работы. Обоснованные, точные, порой выверенные временем, как экспериментами у вас в науке. Я бы за эти статьи передовые давал бы и степени научные. Это ж непросто, вот так, коротко и ясно, чтоб была понятна и последнему руководящему работнику в любой глубинке суть необходимых действий, к которым нас сейчас ведут. Ведь наша жизнь, наша страна – это эксперимент планетарного масштаба, и идея нужного сегодня должна быть ясно изложена и всеми правильно понята...

– Вы, Мотенька, нам сейчас целую лекцию прочесть норовите об экспериментах на людях. Да не перебивайте вы меня. Мы все это знаем. И что это эксперимент всем ясно... На людях. Кстати, вернее совсем некстати, на людях! Не перебивайте, хвост мысли упусти. Наука, если и была в этом, так много раньше. А сейчас – собачья практика.

Я немного заробел того пути, по которому покатила дискуссия.

– Ну ладно тебе, Егор. Эксперимент должен всегда по пути подправляться. Не тебе это объяснять... Вот поправки и идут через печать.

– Исаакыч прав, Жоринька. Корректировка необходима. Печать, не забывайте, не только пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор.

– Да я тоже Ленина в институте проходил, но причем тут печать, наши газеты и наука? Наши газеты не печать. Это, прежде всего. А что касается науки...

Я решил любыми путями сбить накал спора и, вообще, выкинуть из жизни все слова уже произнесенные Егором и готовые к выходу из его головы:

– Ребята, обождите, что-то у меня сердце приболело. Егор, позови сестричку, пожалуйста.

Я все ж был молодой инфарктник и все к этому тогда еще относились с почтением. Егор подхватился и побежал в коридор. Мотя деловито схватил меня за пульс. Будто он понимает, будто я не врач и сам за собственный пульс схватиться не могу, и будто это о что-то подскажет. Но Мотя слышал, в кино видал, канонические приемы.

Опускаю ту фальшивую беготню, что я учинил: приход врача, ненужные капли, отмахивание от ненужного укола и так далее. Полчаса на это ушло. Все! Утомонились спорщики, думал я, успокоились и забыли. Однако научную мысль не остановить ни репрессиями, ни ложными тревогами, ни угрозами. Когда мы вновь распределились по своим одрам, неутомонный Егор вновь взвил черное знамя борьбы.

– Да, так вот, Матвей, как ты считаешь, можно ли в научной статье переставлять абзацы? После первого поставить третий, после третьего – десятый...

– Егор, ты думаешь, что мы, работники советского аппарата, супротив вас, голубой научной косточки, совсем неучи? Разумеется, логика в науке строга. И нечего ловить на ерунде. Это твой снобизм, я бы сказал, профессиональный расизм. Вот. Вы – не лучше всех. Да, и в передовице и в научной статье абзацы переставлять нельзя. Равно!

– Сегодня какая статья в "Правде"? О чем?..

– О чем бы там ни было – это статья будет вдумчивая, серьезное исследование. – Голос Матвея приобрел металлический оттенок. – Партийная газета делается не невеждами. Творцами! И вам, научным верхоглядам, надо лишь сесть и без наносного взгляда, воспитанного на нерусском скепсисе, вдуматься в каждое слово. Учтите...

Я, возможно, оказался более пугливым нежели партнер по беседе с именем Егор. Музыка речи Матвея меня напугала. Я услышал фанфары Красной площади, увидел факелы Нюрнберга. "Нерусский скепсис" поверг меня в страх. Я видел озорной блеск в глазах Егора, но не заметил запорошенность испугом взора его оппонента.

– Дай, дай мне сегодняшнюю "Правду". – Егор веселился.

Матвей Павлович становился все более пьедестален – стальнел и сталинился. Отдалялся. Я только после понял, что с испугом он смотрел на меня. Только потом, восстанавливая в памяти весь тот эпизод, понял что чужим и опасным был для него я. Он боялся меня. Я был чужой. То был, по-видимому, вполне, искренний страх. Но поскольку до сегодняшнего дня у нас абсолютно дружественные и сочувственные отношения царили, вызванные, как мне казалось, моим ранним инфарктом, то я и не заметил вдруг наступившей настороженности. Они-то коллеги – язвенники, а я больной, вроде как бы аристократ. Впрочем, скорее всего здесь сыграло роль мое самодовольство, чрезмерное внимание к себе любимому, ощущение себя больным-аристократом... Ну и, что инородец я, тоже тут же вспомнил.

Егор, очевидно, оказался более свободным и раскованным. Внутренне более свободным. Его вела вперед лишь собственная идея и разыгравшееся озорство.

– Егор, отвязись ты со своей "Правдой". Вот я прочел в Литературке...

– А что? Разве любое исследование не интересно?

– Егор Павлович, вас обучали определенным исследованиям в соответствующих лабораториях, в данном вам коллективе, а вы хотите устроить балаган на очень ответственном участке нашего бытия. Мы тоже периодически усовершенствуемся в университетах. Чему вы как ученый возражаете? Чем вы недовольны?

– Ха! В университетах марксизма? Ученым я могу не быть, но оппонировать обязан.

– Вот именно. Это и есть чуждое влияние людей, которые для всего ищут возражения.

– Да кто ж такие!? – воскликнул я.

Егор не обратил внимание на мой интересный вопрос, а Матвей лишь метнул в меня, как бы успокаивающий взгляд: мол, лично к вам это отношения не имеет. И я тоже отвлекся от Литературки, все ж попав под обаяние, набиравшего силу, потока их спора.

– Нет, ребята. Вы не отвлекайтесь. Мотя, дай мне твою газету.

– Несмотря на болезнь, Егор легко соскочил со своего ложа и ловко выхватил у оппонента спорный предмет. – Так. Что за передовая сегодня? Ага. "Заводская печать".

– Что ж, проблема очень важная. Низовая печать – основа партийного воспитания. Сюда и должен быть направлен взгляд мозга партии...

– Ладно. Я не о теме... Как написано... Итак, первый абзац, начало: "В конце 1921 года московские металлурги выпустили первый номер заводской газеты". Так, та-та-та... и абзац завершается: "На предприятиях появилась своя рабочая газета!" Это начало. Да? Годится как начало?

– Разумеется. Все правильно. Начинается с литературно-исторического обзора.

– Ладно, ладно. Следующий абзац: "Возникновение заводской печати в первые годы Советской власти было предопределено всей политикой нашей партии" Ну и так далее. Как ты считаешь, можно так начать статью?

– Можно и так. Важное положение.

– Правильно. Для затравки в статье хорошо. Дальше: "Сейчас в стране издается 2 360 многотиражных газет заводов, шахт" ну и так далее со всеми остановками. Тоже вполне приличное начало.

– Я не понимаю. Ну и что? – Подожди. Я ведь не читал раньше эту статью, а читаю вместе с вами. Сейчас. Какой-нибудь еще абзац. Ну вот, перескочим через два: "Авторитет заводской прессы, ее влияние на производственную и общественную деятельность зависит, прежде всего, от того, как партийные организации руководят печатью"! Вот твоя главная мысль. И с нее не дурно бы начать руководящую, указующую статью. Как ты говоришь, научную. Подожди, подожди. Не торопись реагировать. Давай следующий абзац: "Заслуживает внимание практика партийных организаций столицы" Тоже начало уместное. Пойдем в конец. Предпоследний абзац: "В эти дни вся наша печать, в том числе и заводская, уделяет большое место социалистическому соревнованию в честь 50-летия Советского государства" Вот – опять начало! Зачин – для чего сегодня пишется эта статья. И конец, последний аккорд: "Наша низовая печать ее огромной армией общественных корреспондентов успешно выполняет" Тоже вполне годится для первого куплета этой оратории.

Я опять вмешался, пытаюсь увести их в сторону: – У тебя уж и оратория с куплетами.

Никто на меня внимание не обратил. Матвей молчал и в упор с недоумением смотрел на Егора. А Егор токовал и меня просто не слышал.

– Это я просто о начале. А ты, Мотя, сам возьми газетку и попереставляй абзацы. Изрядное получишь впечатление. А я пойду, покурю.

И я пошел курить. Вернее, в то время я курить с перепугу бросил, но курительную компанию любил. Если можно отказаться от самого зелья, то никакие разговоры о вреде пассивного курения и дыхания рядом с ними, не могли меня отвратить от бесед в курилках, в перерывах. Я уж не говорю о застольях.

– Зря ты, Егор, голову Моте морочил. Мало, что может в голову взбрести аппаратному работнику.

– Ничего. Пусть задумается. Это ж надо такое! За их передовицы степени им научные давай! Ну, дает парень! Да пусть они, наконец, задумаются. "Коллективный организатор!"

– Так и действительно – организатор, сам что-ли не видишь? Да и, вообще, страшно. А если стукнет? Да еще влияние нерусского скепсиса...

– А! Так вот ты чего боишься! Господи! Да избавьтесь вы от этого своего страха. Распрями плечи. – И Егор с тем же пылом, что сжигал его в споре с Матвеем, кинулся обобщать и мою трусость и неполноценность – Рабскую душу свою, вам, пора сломить. XX век...

Но это уже совсем другое воспоминание, совсем другой, так сказать, абзац. Я-то не спорил. Я робел, как говорится, не умом, а поротой задницей.

Из курилки мы прошли прямо на обед в столовую.

Матвея не было. Когда мы вернулись в палату, он сидел за столом. Передовица "Правды" была вырезана и разрезана на куски по абзацам. Матвей их переставлял, перекладывал, словно раскладывал пасьянс.

Я быстрее лег в кровать, отвернулся к стенке и накрылся одеялом. Мне не хотелось никаких дискуссий. Егор же подошел к столу, посмотрел на работу коллеги-язвенника.

Перед тем, как уснуть, или сделать вид, что сплю, я все ж не удержался и буркнул:

– Язва желудка весьма зависит от состояния нервной системы. Уймись, Егор.

Плевал он на мои пугливые замечания!

– Ты, Мотя, возьми и другие газеты, попробуй вставить абзацы из передовиц, скажем, "Труда" или "Известий", а то и "Гудка" в передовую "Правды". Тоже поучительно.

В этот день больше никаких споров, дискуссий, да и просто разговоров не было.

Утром следующего дня, проснувшись, на месте Матвея я не обнаружил. Пока я умывался, он появился с ворохом газет. На меня смотрел с испугом, на Егора с ненавистью и недоумением. С нами не разговаривал. Дружественное согласие наших больных тел и душ распалось.

Целыми днями Матвей резал газеты и раскладывал пасьянс из обрывков.

Я вскоре был переведен в загородную больницу для инфарктников, где нас, некоторым образом, долечивали, а может, и добивали: слишком тяжело болеть и постоянно общаться только с больными. Я оттуда удрал до срока.

Своих сопалатников я никогда больше не встречал, но, выйдя на работу, узнал, что Матвей Павлович консультировал психиатр и делал какие-то заключения и назначения. Потом у него началось кровотечение из язвы. Его оперировали. Потому я и знаю: оперировали его в моем отделении, и мои коллеги помнили, что Матвей Павлович мой сопалатник.

Кто лечил его впоследствии, по какой отрасли медицины он проходил в своей дальнейшей жизни, где потом работал, какие и как читал газеты – ничего не знаю. Но на душу лег камень – будто я в чем-то виноват.

В чем? За что? Да и что случилось – причем тут я? А камень есть, черт меня побери!

А Егора тоже никогда больше не встречал. И не слышал про него ничего.

И почему логическая цепочка размышлений пожилого, больного человека привела от серого ненастья за окном, от полупрозрачных грязных стекол окна – к этому эпизоду из начала жизни?..

Хм. Логика на уровне передовиц. Одно цепляется за другое, а могло быть все иначе. Всякое воспоминание можно перевернуть и начать другое. У воспоминаний и начало переместить можно и окончание; но что было то было. То есть. Или начать с другого места? Или не тем закончить? И совсем другое, неоконное явление, может привести к тому же воспоминанию.

Утраченные обстоятельства

...Вот я и закаялся брякать необдуманные слова сходу. Да ведь, будто это зависит от наших решений. А иногда и не сегодня осознаешь, какое слово и с каким значением из тебя выскочило. А вот тот, может, первый случай в моей практике, и заставил меня принять подобное, наверно, невыполнимое "закаяние". Закаялся! А нервы наши не всегда зависят от управляющей части мозга. Надо тренировать его, мозг. А тренер-то жизнь, которую не предугадаешь.

Так вот тот случай: Сравнительно молодая женщина сидела передо мной в кабинете. Я уж не помню какой недуг был непосредственной причиной ее прихода. Я расспрашивал анамнез. Выяснял прошлые болезни – ведь восемьдесят процентов диагноза, по-моему, вытекает из расспроса. И выяснил, что семнадцать лет назад ей убрали грудь по поводу рака. При этой неожиданности я глянул на милое, интеллигентное лицо, красивое и уж никак не говорившее, что уже семнадцать лет назад перенесла эту болезнь, весьма редкую для молодых людей, какой она была столько лет тому. Как правило, редкую. Выяснил еще до этого, что у нее есть сын. Непроизвольно, необдумав ни слово, ни его возможное действие, я брякнул: "Повезло вам". Идиот! Повезло! Молодая, красивая, мать и уже прошло семнадцать лет. И остается молодой, красивой... "Вы считаете?" – усмехнувшись, отреагировала она. А я залился краской, которая, по-моему, и до сего дня горит на моем лице и в душе.

Надо быть осмотрительней. Врач с больным не должен подаваться эмоциям. Слово не воробей...

Да разве предусмотрить в каких ситуациях врачу надо крепче задумываться над словом. Безответственность – она легче и приятней. Думаешь к медицине случай нынешний отношения не имеет, слово, вроде бы, из обыденной жизни – ан, в результате беда в отделении.

"Колдунья", – бросил я, когда бабушка от меня отошла. А почему? Да, черт его знает. Чуть сгорбленная, а может, лишь склонившаяся; то ли, вообще, улыбчивая, то ли лъстиво лицемерная гримаска; волосы серые и седина проблескивает; да еще дурацкий больничный халат – я и брякнул "колдунья". При этом ничего ни в душе моей, ни за душой никакого, так сказать, второго плана. Или, скажем, подтекста.

Да и сюжет, который привел ее в больницу и ко мне, вполне тривиальный. Совсем не колдовской, а самый, что ни на есть, обыденный и реальный.

Подошла ко мне сестричка палатная и говорит: "Барсакыч" – так за долгие годы трансформировалось мое имя в отделенческой скороговорке. Был бы я помоложе, небось, радовало бы меня могучее Барс вместо банального Бориса; а уж Исаакович и, вовсе, никто полностью никогда не выговаривал до конца. А за глаза и больные и все называли меня Иссакачем. А старые, многолетние больные-рецидивисты, не раз попадавшие в отделение, и в глаза именовали лишь по батюшки. Мол, имеем право. За годы все сливается и трансформируется и деформируется. Так вот: "Барсакыч, тут старушка лежит у меня в палате, с ушибами, с сотрясением – дочка избилла и выгнала из дома".

– Ну, знаю, знаю. Нет там сотрясения. Ее уже выписывать можно.

– Барсакыч, она потому и хочет поговорить. Просит задержать еще немного.

– Сколько ж можно ни с чем держать. А койко-день идет...

Сестричка не стала дослушивать мою сентенцию по поводу забот наших организаторов здравоохранения, а приоткрыла дверь и поманила кого-то из коридора. И в тот же миг в проеме явилась эта бабуся. Чего уж тут мне говорить. Бабуся не стала рассказывать семейные сюжеты, а, кланяясь, вернее почти не разгибаясь, а может, и не могла распрямиться, попросила разрешения остаться в отделении. Сказала, что будет санитарить, помогать всем, или если можно, оформить ее нянечкой, пока в отделении есть свободные места... Сказала, что век не забудет,

что будет молиться, что будет полезной, что ей ничего не надо, лишь было бы где спать... Почему-то, во время моего продолжительного слушающего молчания, обозвала меня "Вашим сиятельством" – уж совсем неожиданно, необычно и непривычно такое услышать нынче даже в шутку. Разве что, как иронию или издевательство. Короче я поддался.

– Живите, пока мало больных. Летом их всегда меньше, койки пустуют. А оформить санитаркой не могу. Нельзя...

А собственно почему нельзя? И сам не знаю. Нельзя. Бабуся, продолжая кланяться и благодарить, как-то вдруг и исчезла из кабинета. Тут-то я и брякнул "колдунья". При сестре.

– Но выписку мы оформим. Пусть живет, кормится, но историю болезни закончить выпиской с сегодняшнего дня. Ишь, бабка какая. Шустрая. Уговорила.

Бабуля жила у нас четыре месяца. Помогала. Убирала палаты, мыла туалеты, разносила обеды. Лежачих больных помогала возить на каталке на различные процедуры. При встрече каждый раз низко кланялась. Иногда, вдруг, опять мелькало это странное "Ваше сиятельство". А то, опять же вдруг, перемежала, во всяком случае, в разговоре со мной, речь свою немецкими словами на уровне "гут", "данке"... Может, она считала, что эти слова еврейские, и хотела тем самым, по ее разумению, потрафить мне? Оценить полностью ее слова и действия не мог, да и ни к чему мне. Живет и живет. Не выгонять же несчастную старуху. Еда остается, кровати свободные есть – пусть себе.

И вдруг, по прошествии четырех месяцев приходят ко мне уже две сестрички.

– Барсакыч, прогоните бабку, от нее порча, она колдунья.

– Что! Да вы очумели, девчонки. Чего ерунду несете.

– Вы сами сказали. Вы были правы. Мы и подумали...

– Что я сказал? Что случилось? – Вы с самого начала сказали, что она колдунья. И правильно оказалось.

– Да ничего я не говорил. А мешает вам, сами и прогоните.

Она же выписана давно. Я отмахнулся, посмеялся и тем разговор окончился. И опять делегация: – Борис Исаакович, бабка Фрося...

– Какая еще Фрося? – Они все обращались к ней просто "Ба", я никак. Ну и забыл, что обсуждаемый персонаж официально именовался Фросей. А уж полностью ее имя и не знал, наверно, никогда. А историю болезни, где все записано, как положено и надо, не видал уже четыре месяца.

– Ну, бабка, что живет. Колдунья.

– Опять вы с этим идиотством. Сами оставили, сами выгоняйте. А что дочь? Была ли здесь хоть раз?

– Не видали. А какая разница? Пусть уходит.

– А с чего вы так взвелись? Что случилось? Откуда у вас эта самая колдунья вдруг определилась.

– Вы ее сами так определили с самого начала.

Вообще, мне стало страшно. Повеяло чем-то из старых, как думал, давно ушедших веков. Да я сам и оказался первым камнем в основании этой средневековой хибарки, возникшей на одном слове и на каких-то неведомых мне действиях, наверно.

– Ну, а что она делает? В чем она колдунья, что она конкретно сделала?

– Мы к вечеру все еле ходим, болеем...

– Кто мы?

– Кто работает с ней. Все.

– Я ж тоже с ней работаю. Что ж я ничего не чувствую?

– Ну, вот так. А нам плохо от нее. Татьяна к вечеру с ног валится. У Люды голова каждый вечер... А у Гали ребенок вчера заболел. А баба Фрося, как раз вчера ей воду в тапочки налила.

– Как налила? Нарочно что ли?

- А кто знает. Может, и нарочно.
- Вы видели как налила она?
- А кто еще? Только она и входила.

У меня голова пошла кругом. Аж в глазах темно. Что можно возразить на эти кульбиты мыслей у моих прекрасных девочек, которых я очень люблю, с которыми работаю душа в душу и уж никак не думал, что встречусь с подобным необъяснимым вывертом. Так же их головы можно повернуть в любую сторону, против любого человека, дела, цвета, звука, картины... да чего угодно можно подсунуть.

– Нет, девчонки, Не верите вы в Бога – это ж суеверие чистой воды.

– Нет, это раньше мы не верили, нельзя было. А теперь верим. Это раньше нельзя было сказать про колдунью – а сейчас можно. Теперь нам разрешили, Борис Исаакович.

– Да причем тут вера! Вы думаете, если, наконец, Бог не запретная идея, так значит, все вам непонятное в это входит? Колдуны и вера в Бога – совсем разное.

– Не знаю, Барсакыч, мы Евангелий не читали, нас так воспитали, но в Бога веруем и прямо вам заявляем: баба Фрося колдунья, уберите ее отсюда.

Все, что не подвластно разуму, они нынче числят по ведомству Бога. Разрешили в Бога верить-даешь колдунов! Так их надо еще искать. Найдем. И не то находили.

Бог у них без Библии, без Евангелия, без Корана... Чистое язычество!

Я им говорю о Библии, цитирую Евангелие, рассказываю про Христа – слушают словно сказку, умиляются... и ищут колдунов... и не могут поверить, Христос был еврей.

Да не может такого быть! Колдуны могут быть – а Иисус евреем быть не может!

Что-то вроде, что в колдунов верят, а Евангелию нет... не знают. Вера!

Еще через несколько дней вызывает меня Главный Врач.

– Что у вас там за обстоятельства в отделении?

– Какие обстоятельства? Не понял.

– Вот читай. Заявление: прошу дать мне расчет в связи с обстоятельствами на работе. Что это?

– Понятие не имею.

Звоню прямо из кабинета главного своей старшей сестре... – Что за заявление? Какие обстоятельства имеются в виду? – Тьфу, вас! Нехристи! – и положил трубку.

– Теперь понял. Бабка у нас в отделении, практически живет...

Рассказываю всю ситуацию.

– Значит благотворительность за счет государства? За чей счет ты оказываешь благодеяния? Незаконно кормишь ее, постель на нее уходит...

А что я мог ответить. Не моя правда. Хочешь оказывать благодеяния – запускай руку в свой карман, а не в государственный. Мне нечего возразить.

– Все вы добренькие за чужой счет. А счета здесь подписывать мне.

Хорошо главный врач у нас добрый и порядочный человек. Все слова, что он выплеснул на меня, я опровергнуть не мог, да и не хотел. Ему так положено. Он не сделал никаких оргвыводов – так это называется. Я лицемерно предлагал вычестить все у меня из зарплаты. Он, естественно, говорил, что так и сделает. И, разумеется, ничего подобного не сделал.

Кончилась наша беседа приблизительно так: Совсем вы все там распустились... Мало того что... Так еще и колдунью в отделение пустили!

Тут уж мне и, вовсе, нечем было крыть. Когда я уходил из кабинета, главный вызвал начальника отдела кадров. Но, как потом оказалось, ко мне это уже отношения не имело.

Дернул меня черт назвать бабку колдуньей. В отделении первое, что я увидел и услышал: стоит сестра протягивает бабе Фросе пакет белья: – Ба, пойдя, перестели в тринадцатой, где ушли сегодня.

Ну, значит, они, по-прежнему, работают с ней, она им, по-прежнему, помогает, а я объявлюсь сейчас черным ангелом...

Пошел к сестрам.

– Вы что ж, девочки, доносы на меня пишете?

– Да вы что, Барсакыч! Какие доносы?

– А уход по обстоятельствам, по вашему, не донос? Как я должен отвечать начальству, что у меня незаконно, не оформлено находится неведомая бабка и ест наш родной великолепный и на редкость вкусный и питательный государственный харч бесплатно и без прав на него? А наши великолепные больничные простыни, стиранные и перестиранные, а то и перештопанные и проштемпелеванные, мы даем протирать и пачкать людям, на это право не имеющим... Как я должен все эти обстоятельства начальству объяснять? Как по вашему?

– Мы ж, Барсакыч, не хотели... Мы только...

– Вы только!.. Вы не хотели... Над каждым словом думать надо, особенно, если пишете его. Где живете! А то – колдунья! Бросишь слово на ветер, а ветер несет его совсем не вдаль, а тут же сеет всякое.

Тут уж девочки совсем не поняли, о чем я, кого я. Что себя и о себе я, они, разумеется, и не подумали. И правильно. Я не себя и не о себе... Вот так...

Пошел по коридору в свой кабинет. Полный благородного негодования... Против кого?..

А вот и искомая бабулька. Не называть же ее бабой Фросей. А отчество не помню. Не знаю.

Так и без обращения: – Знаете, придется вам уйти. Надо уходить. На меня уже доносы пишут.

Уж так меня грела идея, что на меня доносы пишут. Так и возвышаюсь в собственных глазах. В нашей стране и ныне почетно, если на тебя доносы пишут. Ну, скажем, писали...

– Хорошо Ваше Сиятельство. Ухожу, ухожу. Спасибо...

И я ее больше не видел. В тот же день ушла, или на завтра. Говорят, прощаясь, с кем-то даже целовалась. И нет теперь в отделении никаких обстоятельств.

Отпуск

Борис проснулся с ощущением какой-то новой, дополнительной свободы. Солнечное утро уже бушевало за окном во всей своей летней прелесть. Прежде всего, он понял, вернее не понял, а брюхом почувствовал отсутствие в голове каких-либо обязательств и обязанностей. Первый день отпуска – раз: в больницу не надо и, вообще, не надо никуда. Семью вчера отправил на отдых и, стало быть, полная пустота в графе "надо" по этой линии тоже – это два. Правда, неплохо бы сходить в больницу за отпускными, а то в кармане остался лишь рубль, чтобы доехать до бухгалтерии. Однако там не очень уверены, будут ли сегодня деньги, а уж завтра полный, так сказать, верняк. Да это и значения большого не имеет – еды ему оставлено до конца недели, холодильник, более или менее, заполнен, а дальше будет видно. Деньги своим он должен выслать через две недели. Ощущение легкости и безответственности продолжало поддерживать его в облаках и удерживать в постели.

Ну, а более глобальные проблемы так же его никак не колебали: диссертация вот уже три месяца, как защищена и сдана в ВАК, больные после его операций уже вышли из опасного периода, а последнюю неделю он ничего не оперировал.

Так что полная свобода – и в голове стали еще пока неясно мерцать всякие фри-вольно-гривуазные мысли о различных эскападах с друзьями.

"Ну, Иссакач, – подумал он, почему-то обратившись к себе не именем, а, скорее, кличкой, что прочно прилепилось к нему в больнице с легкой руки его пациентов, не дававших себе труда за глаза, тянуть обязательное Борис Исаакович, – вполне можно еще посибаритствовать и поразлагаться в постели" Он потянулся к тумбочке, воскурил сигаретку и лишь дымок говорил о продолжающемся существовании и движении в этих условиях материального и душевного штиля.

Как всегда в его жизни, телефонный звонок обозначил ее продолжение.

– Слушаю, – игриво протянул Борис, предвкушая звонки от друзей, знавших, ждавших и жаждавших начала его отпуска и их общих веселых каникул.

– Борис Исаакович, добрый день. С вами говорит Тина Вадимовна Смоляева. Мы с вами познакомились, когда вы оперировали моего друга писателя...

– Помню, Тина Вадимовна. Я знаю вас.

Смоляева. Борис прекрасно знал ее, правда, понаслышке, вернее, поначитке, по роману – типичного советского чтива, не имевшего никакого отношения к реалиям жизни. Однако, как говорится, средний класс, которого у нас так и не создали, разве что усреднили отношение к искусству, так вот сей контингент читателей с удовольствием глотал страницы этой пустой и фантастическо-реалистической книги. Смоляева несколько лет назад потеряла мужа, тоже писателя, умершего от рака и все свои силы и средства решила вкладывать в борьбу с этой роковой болезнью. Ну и, конечно, как и все люди, не шибко высокой культуры, позволяющие себе, именно поэтому, судить обо всем с колокольни достигнутого положения, поддерживала всякие шаманские, порой искренние, а то и откровенно шарлатанские действия и проекты.

Средняя литература, если она не лжива, хотя бы оставляет свидетельства о прошедшем времени. В противном случае она лишь свидетельствует о состоянии культуры автора и общества его породившее. Возможно, Тина Вадимовна искренне верила в реалии написанного ей, но внутренний бес видно подталкивал ее оставить после себя нечто более весомое. Уровень ее понимания бытия и привел даму сию к помощи энтузиастам борьбы с раком. Она с жаром искреннего бескультурья бросилась в омут шарлатанства и невежества среди разных людей, кстати, тоже искренне веривших в свои, якобы великие открытия в деле уничтожения рака. Вообще-то, вполне достойное употребление своих средств, украшавшее и ее самую и отношение к памяти покойного мужа. Однако...

Прототип ее героя был вполне удовлетворен своим преображением под пером Смоляевой, читая про себя столь возвышенные строки. Дружба их была искренняя и устойчивая. Великая беда не миновала и её героя. Его также постигла тяжкая болезнь, которой Тина Вадимовна нынче отдавала все, что имела. Беда эта обнаружилась, когда медицина уже была не в состоянии помочь. Тина Вадимовна, вообще в грош не ставила медицину официальную, а тут и вовсе были на то вполне веские причины. И никто в нее не бросит камень за то, что она прибегла к помощи своих друзей, пытавшихся лечить, или делать вид – кто знает. Бог им судья.

...Ну, так вот, Борис Исаакович, очень прошу вас принять сегодня участие в консилиуме в качестве представителя вашей науки. Мне кажется, вы вполне лояльно относитесь к различного рода поискам исцеляющих средств.

– Разумеется, если это уже ничему повредить не может, не отвлекает от возможной еще помощи средствами апробированными, нам известными.

– Мы сейчас не будем вдаваться в дискуссию. У меня есть свое мнение – оно неоспоримо. – Борис и не думал спорить, тем более, с тем, что уже заранее неоспоримо. К тому же в каких спорах истина рождалась? – Если вы не против, я жду вас у себя в шесть часов и мы поедем на моей машине. А потом я вас отвезу домой. Нет возражений?

– Разумеется, Тина Вадимовна. Я готов.

– Ну, так до скорой встречи сегодня у меня в шесть часов.

Ту-ту-ту... Тина Вадимовна закончила разговор энергично, в отличие от обычного для неё долгого обсуждения положения в онкологии в мире, в Советском Союзе, и ее отношения ко всякому официальному лечению.

Борис встал и пошел в душ. Ситуация без обязанностей и обязательств завершилась довольно быстро. Но полностью ощущение павшей на него свободы пока не исчезло.

Он стоял под душем весь в пару, словно готовился к поступлению в ад, а для попадания туда необходимо сдавать какие-нибудь приемные экзамены. Под горячими струями, из-за пара в запотевшем зеркале он себя не увидел, а потому, продолжая перегреваться, думал о вечном.

"Желание и любовь бороться уже многих в истории нашей земли подводили, как людей, так и целые сонмища их в любой форме. Смоляева борется с раком и от этого чрезвычайно собой гордиться".

Как бы пренебрегая физическим дискомфортом, Борис опрокинул на себя вслед за струями горячими душ холодный, что исторгло из него вопль страстный от радостного ощущения перемен в теле, да и в жизни вообще. Дома никого не было, и вопль его был предназначен лишь собственному самоутверждению.

Тина Вадимовна с ее просьбами, уверенностью и напористостью не сумела пока снять радость первого дня отпуска свободного от всякой всячины. Смотраться на консилиум – обязанность пустяковая. Сделаем.

Звонок телефона приветствовал его выход из ванной комнаты. Но он не испугался нового звонка – он ждал его.

– Говори.

– А если бы это был не я?

– Этого быть не могло. Я чувствовал.

– Ладно. Где носило? Второй раз звоню.

– Под душем. Звонка там не слышно.

– Экой чистюля! Сам говоришь – от грязи микробдохнет. Да кто тебе поверит теперь?

– Ты и поверишь. А не поверишь – ходи голодный.

– Кстати, об этом. Не пора ли пройти нам по вольным улицам вольного города, хотя у меня в кармане есть только сигареты и спички... Ну и носовой платок с ключами от дома, где деньги пока... уже... еще не лежат.

– Я буду несколько авантажней – у меня рубль, а завтра грядут отпускные.

– Завтра! Завтра будут иные думы. Так я тебя жду как обычно. Через полчаса будешь?

И вот они идут по улице, свободные, тридцатилетние, политически безграмотные, с одним рублем на все карманы в двух портках, ибо пиджаков по случаю жаркой погоды на них не было. Борис Исаакович и Владимир Павлович – русские интеллигенты, жаждущие выпить и насладиться свободой от работы, своих семей и прочих обременительных буржуазных или гражданских обязанностей современного человека.

Жара! Томимые ею, они жаждали выпить. Но, несмотря на естественную потребность летом к прохладительным напиткам или, в крайнем случае, к холодному пиву, они алчно пылали в тот день страстью, как раз, напротив, – к напиткам горячительным. Что поделаешь, коли у свободного русского интеллигента любой национальности сегодня начинается отпуск, а жены и дети уже отбыли на отдых.

– Барс Сагыч! Рубль не деньги, выпить надо, так выпьем, как все уважаемые люди коктейль из соков. Видишь впереди заведение озаглавленное "соки натуральные"?

Понимая, что ничего выше "натуральных соков" им сегодня не светит, они и вошли в вышеупомянутое заведение исполнить свою мечту – промочить горло. Людьюми Флинта почувствовать себя им только грезилось.

По пятьдесят копеек на брата – для соков в то время было, как говорится, более чем достаточно. По их просьбе им дали пивные кружки, и они там смешали разные количества, в нормальной жизни соков несовместимых. Понемногу там смешались томатный и вишневый, яблочный, сливовый, а может, даже манговый и мандариновый. Под одобрителный смех продающей феи, они размешали все ложечкой, потом спросили килечку, что вызвало смех и у праздной публики вокруг. Озорство было очевидно и вокруг, как им казалось, их осеняли лишь доброжелательные улыбки.

Но нет! Из угла послышалось ворчание. И не поймешь – мужское или женское недовольство включилось в их игру. "Ничего в простоте не сделают. Все насмешечки над нами. Им бы только душить русский народ" Никто и внимание не обратил на этот рокот из народа. У Бориса лишь промелькнуло сказанное, да и то в ушах только, а не в мозгу. Общая обстановка шалости и баловства, по существу, не была омрачена этим рокотом из народных глубин.

С печалью и горечью прошли они мимо ВТО, тогда еще не сгоревшего, всегда готового принять в ресторане своем каждого сподобившегося попасть, правдою ли неправдою, в сонм допущенных. Борис в начале года оперировал по поводу аппендицита мужа секретаря директора дома, которая в виде ли взятки или побора, уж как это могли назвать, вечно бдящие за нравственностью народа, газеты, незаконно приобщила хирурга к божественной элите, пропуском в ресторан на текущий год. Пропуск-то есть, но базы материальной...

Но... "есть Божий судия" – повстречался приятель, артист, жену которого также когда-то оперировал Борис. И он шел с той же жаждой в душе и взоре. Опытным глазом он определил коллег по мечте и уже с радостной возможностью реваншироваться за бывшую помощь своей жене, пригласил друзей на рюмочку чая.

От еды они гордо отказались... – ... Разве что, чуток чего-нибудь закусить...

Ну, немножечко салатика под названием "столичный" взяли, пару порций селедочки, помидорчик натуральный без всяких дополнений, по тарталеточки с печеночным паштетом, пару порций сырка. Сыр был неизвестного сорта или породы, уж как его назвать неизвестно. В ту советскую пору сыр был в дефиците и имел лишь одну разновидность – сыр.

– И все! Все, все! – Ну, как хотите, доктора, а я без соляночки никуда. Мне в жизни главное – это суп подавай.

– Пожалуй, соляночку и я схарчу. Я вас познакомил лишь по именам, а вот по сути его натуры – он не доктор, а математик. Впрочем, он без пяти минут доктор. Диссертация уже написана – осталось защитить.

– Так есть прямой повод, даже причина выпить: за успех будущей защиты! Значит, еще бутылочку ее самой принесите нам.

– Нет, нет, Илья Михалыч! Триста грамм! У меня еще консилиум сегодня в шесть часов.

– В шесть часов! Все уйдет до того времени.

– Нет, нет. Больше нельзя.

– Ну, с математиком, с Володей же можем? А вы поприсутствуете.

Бутылку-то они прикончили быстро и дружно. Взяли еще триста грамм. У Бориса в голове все время был включен ограничитель: "в шесть часов у меня консилиум, в шесть часов у меня консилиум". Может быть, поэтому выпитое, будто чай действовало на него. По крайней мере, ему так казалось. Его сотрапезники, и впрямь, становились все более громкими и многоречивыми собеседниками. У них оказалось много общего, как в каких-то математических проблемах, так и в различных театральных и киношных ситуациях. Выяснилось, что Илья Михайлович помнит, и даже произнес вслух синус двойного угла. Это подвигло их выпить на брудершафт и пригласить к столу соседок по ресторану и коллег. Борис с грустью отметил, что синус у него ассоциируется только с частью плевральной полости и венозного образования в черепе, что никак не позволяло включиться в общий гомон со значительно разросшейся компанией. Прибавление сорюмочников вызвало необходимость в новой бутылке.

Компания уже прекрасно общалась и без него и его отношения к синусу, но он время от времени пытался обратить на себя внимание соседки, сидевшей рядом с ним. В какой-то мере и в какие-то мгновенья ему это удавалось, но явно недостаточно. Поэтому, постоянно держа в голове грядущий консилиум, он договорился, что вечером после спектакля они перезвонятся или встретятся завтра здесь после ее репетиции. Время окончания репетиции он, не доверяя своей памяти, несмотря на включенный в голове ограничитель, записал на салфетке, которую аккуратно сложил и положил в карман. Победно оглядывая после этого успеха зал, Борис обнаружил своего старого приятеля, живущего в соседнем доме. Что важно, ибо он сумел одолжить у него маленько денюжат до завтра. Радости и объятий было много, особенно от того, что он сумел у него одолжить до получения отпускных. К столу он возвратился более вальяжным и уверенным в своих силах. Расположившись рядом со своей соседкой для более целенаправленного разговора, он с горечью услышал, что ей уже пора в театр. Однако договоренность осталась в силе. Ограничитель сработал, и он даже не прицеливался провожать ее до театра.

Народ у стола менялся. Одни уходили, другие приходили. Всегда так бывает в клубах, где, как правило, гужутся одни и те же люди. Рестораны в ВТО, ЦДЛ, ЦДРИ, да еще Дом кино, и были такими профессиональными, а в условиях столицы первого социалистического государства, единственными элитарными клубами. За столом оказывались то художники, то артисты, то писатели, поэты, портнихи, парикмахеры, как, например, и Борис, который для этого контингента был просто "нужник" обслуживающей армии. Единственно, хирургов все ж боялись – имеет дело с кровью и смерть ему брат и товарищ. А может, все и не так... но идея: вы для нас, а не мы для вас, как будто мы не все друг для друга, нашего доктора преследовала постоянно.

Иные подходили с наполненным графинчиком, но никто не подходил с закуской, поэтому пили все больше и больше, а есть было нечего. И, как всегда здесь, основным сопровождением водки был кофе.

В один из подходов их собутыльником оказался старый поэт, писавший официальные стихи и песни, исполняемые на празднествах, освященных партией. Все были уже достаточно пьяны и цеховский стихотворец в том числе. Как часто случается с поэтами, выпитое подвигает их на чтение своих сработанных строк, и подошедший к ним гость, заняв стул, словно трибуну на партийном митинге, начал, как нынче говорится, "озвучивать" свои труды. Неожиданно для всех стихи оказались нежными, лиричными и совсем неплохими. Уже совершенно

пьяный Володя одобрительно и поощряюще, а, пожалуй, даже почему-то покровительственно замурлыкал какие-то комплиментарные слова.

Поэт приосанился и, вальяжно растекшись по стулу, проворковал:

– Почему же? Я еще и не так могу.

Долго его не могли остановить. Впрочем, и не пытались. Просто никто не слушал, а оценить талант были уже не в состоянии. Да он в этом и не нуждался, и на реакцию застолья внимания не обращал. Кто-то разговаривал о чем-то не имеющем никакого отношения к поэзии читающего мэтра, кто-то задремывал. К последним присоединился и Володя. Борис же бубнил внутри себя про консилиум, который должен состояться в шесть часов, пытаясь переложить это напоминание в стих. Однако, по видимому, таланту ему на сей подвиг не доставало, и он продолжал напоминание свое добротной прозой: "У меня консилиум в шесть часов. У меня консилиум в шесть часов".

Уже ушел и Илья Михайлович, расплатившись за взятое им с самого начала. Они еще чего-то брали, за что расплачивались деньгами, одолженными Борисом у встреченного приятеля-соседа. Дело подходило к пяти и Борис, внезапно преобразившись в Бориса Исааковича, поднялся из-за стола, чтобы отправиться справлять свой врачебный долг. Но не мог же он оставить здесь товарища, хоть он и математик-супермен. Но супермена за столом не было, и Борис ринулся его искать. Прежде всего, он, разумеется, направился в уборную, но там товарища не было. Борис стал шнырять по всем закоулкам в поисках пропавшего друга. Нашел. В одном из закутков он сидел за столиком с одним известным режиссером и играл в шахматы. Володин соперник, вроде, был трезв, а потому совершенно непонятно, что его заставило сесть играть с человеком, который с трудом произносил даже такое краткое трехбуквенное слово, как шах, хотя и легко на устах его рождался столь же краткий мат. И, тем не менее, они играли.

– А вот я мат сейчас поставлю и тем себя на век прославлю.

По-видимому, под явным влиянием придворного поэта несколько раз повторял пьяный друг.

– А вот и не поставишь.

Без всяких поэтических попыток, но почему-то на ты, отвечал ему, хоть и известный, но до сего дня им не знакомый представитель театрального искусства.

– А вот и поставил уже, – наконец, полноценной прозой сказал Володя и с тяжким кряхтением стал подниматься со стула.

Действительно. На доске был полноценный мат, который весьма редко бывает в мало-мальски квалифицированных играх.

Ну, так игра была не квалифицированная. Зато удовольствие от нее, по крайней мере, один из игроков, безусловно, получил, судя по победно-самодовольной морде пьяного победителя.

Иссакач друга подхватил и повлек в сторону выхода.

– Ты чего? Ты куда? Мы еще не кончили.

– Чего не кончили? Я уже за все расплатился. Некогда. У меня консилиум. Понимаешь? У меня консилиум!

– А куда ты меня тащишь? Барс Сакыч! Я хочу домой.

– К маме...

– Ну и к маме. Имею право.

– У меня еще осталось на такси. Доедем до моего места, а потом я тебя довезу куда надо.

– А куда мне надо?

– Пьянь подзаборная. Кабацкая ярыжка. Куда мне надо, туда и тебе.

С легкой, не агрессивной перебранкой, наконец, выкатились они на улицу. Борис чувствовал ответственность свою и как врача и как товарища пьяного супермена, а потому сам он себя похмельным не ощущал. Ограничитель пока помогал. Чуть пошатываясь под тяжестью

неустойчивого друга, он все же целеустремленно передвигался в сторону стоянки такси. Вновь Бог им помог, и искомая машина попалась раньше цели их передвижения. Минула их и опасность отказа шофера вести пьяных. Видимо, и тут помог ограничитель – Борис не производил впечатление малотранспортабельного. Загрузились и покатались.

Около дома Тины Вадимовны Борис усадил Володю в скверике вблизи подъезда и строго наказал сидеть и никуда не отлучаться пока он не придет. Он надеялся, что недолго будут собираться и знал, что путь лежит мимо его дома, куда и хотел закинуть товарища. Пусть проспится, пока не закончится консилиум.

Дверь открыла сама хозяйка и провела в большую комнату, что в прошлом могла называться гостиной, а сейчас чаще именуется иными столовой, а иными общей комнатой. Прямо перед дверью, шагах в пяти от нее стоял круглый стол, на котором возвышалась в половину человеческого роста скульптура, сидящего в кресле покойного мужа Тины Вадимовны, известного писателя, разумеется, Борисом узнанного.

– Хорош? – указала на скульптуру Смоляева – Проект памятника. По-моему, очень удачно. Садитесь Борис Исаакович. Сейчас я буду готова.

Она открыла дверь в другую комнату, где на противоположной стене висел большой портрет молодой женщины в полный рост.

– А это Глазунов. Его пока мало знают – говорят гоним. Муж его привечал.

Прежде чем Тина Вадимовна прикрыла дверь, Борис успел разглядеть стоящий на пьедестале прозрачный саркофаг и мужнину посмертную маску внутри его.

Недолго меняла Смоляева туалет и вскоре вышла.

– Тина Вадимовна, у меня тут внизу товарищ дожидается. Он чуть подвыпил, не могли бы мы его закинуть в дом? Крючок очень небольшой. – Борис назвал адрес и получил согласие хозяйки и шофера.

А разве евреи пьют?

– А кто вам сказал, что он еврей? – согласно правилам, заданной игры, вопросом на вопрос ответил Борис. И продолжил – Это вы, глядя на меня, решили обобщить и мое окружение?

– Да сама не знаю. Почему-то так решила.

– Да пьем мы, пьем. Как говорил Светлов: " мы уже пьем, мы уже деремся, что вы от нас еще хотите?"

Тина Вадимовна смущенно похихикала: – Да, да. Помню, помню. Светлая личность Михаил Аркадьевич. Это он антисемитской команде, тогда в ЦДЛ сказал, когда начали гоняться за евреями, врачами-убийцами. Мой вот никогда антисемитом не был. У нас полно было друзей евреев. Вот сосед наш. Еврей. Замечательный писатель и человек. Знаете, он тоже прилично пил.

– Ну вот, видите! А вы говорите! Евреи тоже люди, тоже пьют порой.

– Вот именно, что порой. Это и ценно, что порой.

– Да чего делить мир. Евреи такие же. Есть пьющие, а...

– Что это мы разговорились! И товарищ ваш ждет, и наш больной заждался, наверное.

В лифте Смоляева все ж успела высказать свое отношение к ныне царствующим в онкологии академикам и их теориям.

У самого подъезда уже стояла открытая машина полувоенного полудеревенского образца, именуемая в народе "козлом". Тина Вадимовна водрузилась на переднее сиденье рядом с шофером. Ее белая широкая кружевная шляпа, закрепленная высохшим раствором сахара, что в то время было модно среди некоторой части населения, почти касалась лица водителя своими сладкими полями.

– Ну! Где же ваш товарищ? Борис посмотрел в сторону скамейки, где оставил друга математика, но там никого не было. Он побежал на сквер и там, на траве, подле лавки обнаружил,

лежащую и мирно спавшую, потерю. Борис, согласно правилам и традициям, стал растирать уши и приговаривать: "Вставай, гадина! Машина ждет. Великий русский писатель тебя ждет, чтобы домой тебя, пьянь подскамеечная, отвезти" Он поднял Володю и, поддерживая его сзади, и, подталкивая, стал медленными шажками приближаться к машине.

– Здравствуйте, – вполне куртуазно проворковал Володя и стал не без труда взбираться на высокую машину.

Наконец, они уселись. Ветер мотался по их лицам, поля шляпы двигались прямо перед устами Бориса и он с трудом сдерживался, чтоб не лизнуть их. Все ж и на него, в конце концов, не могло не подействовать выпитое часом раньше. От этой сладости он удержался и весь его интеллект был сосредоточен на удобствах пьяного товарища. Он сильно надеялся, что ветер, овевающий их в открытой машине, поможет и отрезвит обоих.

Володя задремал, картинно склонив голову на грудь. Тина Вадимовна повернулась и удовлетворенно оглядела нового персонажа их вояжа. Доброжелательно улыбнулась и томно протянула:

– Не-ет. Конечно, еврей.

– Разве? – Борис толкнул соседа в бок. Тот резко вскинул голову.

– Чего надо? Больно же.

– Вовк, ты еврей?

– Отстань. Не знаю. Спроси у мамы, – и опять уронил голову.

Все засмеялись. Недолго их оведал ветер. Дом Бориса совсем рядом.

– Я его только введу в дом. Я сейчас. Я ненадолго. Ладно?

Борис уложил товарища на тахту – тот практически и не просыпался и хозяин дома устремился к двери.

Не тут-то было.

Борь, поди-ка, – вдруг с лежанки раздался, хоть и пьяный, но вполне человеческий голос.

– Чего тебе? Я сейчас приеду. Никуда не уходи. Я тебя запроу.

– А где я?

– Совсем сдурел, пьяница! У меня ты. Не видишь что ли!

– А-а... – успокоено протянул Володя и приподнялся, видимо, оглядеть место пребывания. Борис наклонился над ним, а тот, в ответ на участие, вдруг, обдал его левый бок от пояса до пяток всем, чем они сегодня закусывали и выпивали.

Не можно повторить словесную реакцию товарища на это, я бы сказал, дружеское приветствие уходящему доктору.

Борис пошел в ванну и мокрой губкой стал наводить порядок на брюках.

Но ждет больной, ждет писатель в машине, долг зовет, труба трубит, и, кинув пару дерзких фраз остающемуся, но уже крепко спавшему товарищу, ринулся вниз по лестнице.

"Машина открытая, быстрая езда, ветер... Не заметит – думал на бегу участник консилиума. А пока доедем, все высохнет".

Но Тина Вадимовна повела носом и задумчиво, пожалуй, даже ностальгически, молвила:

– Блевал? Понимаю. Знаю. Ну, ничего. Оклемается.

И они поехали на консилиум, где их ждал больной, полностью доверявший Тине Вадимовне и ее докторам и ее воззрениям на современную онкологию.

Дружба

– Борь, шеф вызывает.

Чего это? Всё вроде нормально. Последние операции без осложнений. Конфликтов, жалоб нет. Может, кто лечь должен?

– Алексей Васильевич, звали?

– Да, Борис. Какого рожна ты ни черта не делаешь? Бездельничаешь. Сколько ты получаешь?

– Почему бездельничаю? У меня последние дни по несколько операций ежедневно. А получаю ставку и дежурства.

– Это и есть безделье. Бедность и безделье. Сделаешь операцию и домой. А там что? Гульба? Хватай же момент. Разве можно жить только на зарплату твою.

– Алексей Васильевич. Я с больных денег не беру. Коньяки только носят.

– Да я не об этом. Голова на плечах есть. Эрудиции достаточно. В консерваторию таскаешься. Нельзя только рукодействием заниматься. Я, вовсе, не предлагаю тебе деньги брать. Возьмёшь и получишь по репе. Деньги надо брать законным путём.

– Я, как и Остап Бендер, уголовный кодекс чту.

– Мне ваш Бендер до лампочки. Вы, всё ваше поколение в нем по самые яйца. Причём тут уголовный кодекс? Если больной принёс деньги после, без договоренности и вымогательства, это больше не кодекс грызёт вас, а устав партии. Смеюсь. Не брал и не бери. Да ты садись. Чего переминаешься? В сортир что ли надо?

– Спешу, Алексей Васильевич. У меня ещё сегодня операция.

– Милый, одними операциями у нас сыт не будешь. Мозги надо тренировать. О диссертации пора подумать. Ты, хоть и городской врач, к кафедре отношения не имеешь, но бездельничать всё ж не гоже.

– Да на что мне диссертация? Работа длительная с очень низким КПД. Да и на десять рублей только больше. А то, что в диссертации надо размазывать не менее чем на двухстах страницах, всё можно уложить в статье не больше десяти страниц. Я уже сделал.

– Да, ладно тебе. Ну, таковы правила игры. И работа приучает к аналитическому мышлению. А насчёт КПД, то если даешь согласие на диссертацию, я тебя завтра переведу в ассистенты кафедры. При твоих ста десяти эта сотня стоит КПД. Тем более что статьи у тебя есть. Тему возьми по этим твоим работам.

– Алексей Васильевич, я, по-прежнему, против диссертации. Но, как сказал Генрих Наварский: Париж стоит мессы. Забудем про КПД. А меня в ассистенты пропустят?

– Ну вот! Я ж говорил, эрудиция для соискателя достаточная, – шеф засмеялся. – Я сегодня иду к ректору, вроде лицензии на отстрел евреев отменили. Пропустят. Я же раньше молчал.

Игривость шефа, по-видимому, была связана именно с еврейскими проблемами. Ему самому, выходцу из дворянской среды, эта ситуация неудобна и неприятна. Так расценил Борис слова и ужимки шефа, обычно, более величаво разговаривавшего со своими помощниками по кафедре, да и со всеми врачами больницы.

Короче, надо, пожалуй, начинать работать над диссертацией. А вообще-то, без диссертаций, этих кропаний статей и прочего, жизнь, не в пример, вольготнее. Но ведь, действительно, Париж стоит мессы.

Клинический материал у него уже кое-какой накопился. Значит, прежде всего, надо заняться литературой. Всё это какой-то бред. Нужная литература для дела ему известна, в статье упомянуты, рефераты есть. Но для обзора надо капать в него всё, что к проблеме близко, а заодно, что дальше тоже. И это называлось умением работать с научным материалом.

Борис уже заранее ненавидел эту работу, потому что делать надо исключительно из-за денег; а желания сбросить этот камень с тела и выбросит грязь сию из души, заставило его выкинуть боевой вымпел, забить в тамтамы, выйти на тропы войны, то есть пойти в Ленинку и начать поиск всего, что давно найдено. По дороге он вспомнил шутку: основная задача молодого учёного убедить жену, что Ленинка работает круглосуточно.

Подбирать материал по журналам работа нудная и потому, чтобы разогреть себя, разогнать желание обратиться к научному печатному слову, он брал какую-нибудь интересную книгу и лишь почитав, войдя в библиотечную ауру, переходил к журнальным поискам. И опять по косвенной аналогии вновь вспомнил ерунду: Эдуард Второй Английский, будучи гомосексуалистом, страдал от отсутствия наследника, поскольку монарх и династия требовала. Для этого он в постель укладывал с одной стороны любовника, с другой жену. Разогревшись на предмете страсти, он в последний момент успевал перекинуться и закинуть свои хромосомы в лоно носительницы надежд династии.

Больше месяца длилась эта тягомотина с ненужной литературой. Набрав достаточно, он сел за стол и начал писать.

Не хотелось.

Статья им была уже написана и даже опубликована ещё до предложения шефа. Все карточки для литобзора и клинические данные, как говорится в медицинских кругах, он расклеил по большой чертежной доске и поставил её перед глазами на краю стола, прислонив к стене. Готовился. И время тянул. Хотел или не хотел, но всячески оттягивал начало – первые буквы, слова, фразы своего будущего фундаментального, бессмертного труда.

Чтоб разогнаться в библиотеке, он брал книги. Дома брать их боялся – это могло стать неостановимым процессом чтения. Время писать – время читать. Время камни собирать. Бумага, ручка... И... Стал вспоминать случаи, больных достойных его диссертации, но в голову приходили лишь какие-то сюжеты из жизни дома, улицы, больницы. Почему-то он стал записывать их в виде рассказов. Увлёкся. Но, расписавшись, он хватался за голову и насильно заставлял себя переходить на сухой язык науки – почему-то считали, что в науке (во всяком случае, в медицине, будто она наука, а не гибрид ремесла и искусства) должен быть особый сленг, который больше производил впечатление квазинаучного. Он приводил литматериал, клинические данные и прочую дребедень, никак не прибавляющую ничего к его предложению по пониманию и лечению интересующей коллег болезни... Так и на следующий день. И на след... и ещё...

Так и писал, то псевдонаучным полуканцелярским языком с медицинским флером. То переходил на рассказы, вспоминая свою хирургическую жизнь и быт.

Получался странный график дня, жизни. Приходил он в больницу в восемь часов. Короткий оббег своих больных. Потом утренняя пятиминутка, эдак, на полчаса. Затем до двенадцати занятия со студентами, после которых перевязки, операции, записи историй болезней. В шесть уходил и упражнялся писаниями. В десять – гульба. А это уж как придётся.

Иногда он уходил раньше. В консерватории у него был контакт с билетёрами. За пять рублей его пропускали и он всегда сидел во втором амфитеатре у прохода. Контакт с Борисовичами. Не Рюриковичи иль Гедиминовичи. – совсем не княжеского рода были Борисовичи. И кажется даже не родственники. Так он называл административный клан Большого Зала. Директор был Ефим Борисович, заместитель его Марк Борисович, администратор Павел Борисович, а у входа Клара Борисовна. Борисовичи!

Однажды он пошёл днем на репетицию приехавшего дирижёра из Германии. Абендрот – в период Гитлера он жил у нас, в нашей стране. А нынче приехал в гости. Гастроли с Запада были редкие. Он давал один только концерт и студентам консерватории иным музыкантам и, так, разным пройдохам типа Бориса, разрешено было присутствовать на его репетиции. Опять девятая симфония Бетховена. Она сопровождала Бориса по жизни. Абендрот дирижировал, временами прерываясь на какие-то замечания. Лишь один раз Борис понял, что речь о при-

зыве к немецкому духу. И действительно, они повторили совсем по иному. Как это получается, Борису было не понять. Размышляя на эту тему и досадуя на свой недостаточно культурный уровень, он в гардеробе повстречал некую Веру, свою давнюю знакомую, ещё по студенческим временам. Она тогда училась на филфаке в университете, а сейчас считалась писательницей. Считалась, так про себя сказал Борис, потому что сам он ничего не читал и не слышал даже о каких-либо её публикациях. Что тоже попенял своему уровню эрудиции. Тем не менее, он заговорил с эрудированной филологиней об озадачившей его поправки Абендрота. Шли они домой пешком, благо она жила недалеко. У подъезда дома она предложила зайти на чашечку кофе. Жила она одна. С мужем развелась. А дочка была у бабушки. Борис зашёл сзади снять с неё пальто, и их долгий музыкальный разговор закончился тем, что, помогая ей в борьбе с одеждой, он обнял и притянул её спиной к себе. Автоматически – поза призывала. Она не стала возражать и, развернувшись ему лицом, подтянула его голову к себе и поцеловала. Борис не стал отмахиваться. Нацеловавшись, они всё же решили и кофейку попить. Она поставила чашечки на маленький столик перед тахтой и двинулась в сторону кухни. Борис взял ее за руку и подтянул к себе. "А кофе на потом, Не возражаешь?" Она засмеялась. "А что ты называешь до потом?" "Сейчас посмотрим. И в восторге беспредельном может в светлый войдѐ-ё-ём чертог" "Бетховен тебя сильно одолел" Это она уже сказала лёжа поперек тахты рядом с ним. Он приподнял свитер. "Помнёшь, порвёшь всё" "Так сними" "Ты торопишься?" "Хочу кофе. Пусть быстрее будет потом" "Дай хоть постелю. Ковёр на тахте колется" Кофе они пили нагими, по-видимому, чувствуя себя таитянами. Но разговоры при этом были вполне цивилизованными и интеллектуальными. От музыки они перешли к науке, литературе. Борис пожаловался на необходимость писать диссертацию и, расколосившись, сказал, что, скрашивая занудство научного творчество, пишет параллельно какие-то рассказы. Вера уговорила его почитать ей. Вроде бы, мэтр она для него. Писательница всё ж.

Работа над диссертацией несколько приостановилась, но потом он вошел в обычный график: приходил к Вере около десяти, что и шло по рубрике "гульба". Чтение рассказов перемежались более понятными занятиями. Понятными и может быть более приятными. Для кого и зачем? Жизнь покажет. Во всяком случае, Вера очень комплиментарно оценила его рассказы. Говорит, что надо печатать. Борис удивился. Не поверил. Но встречи продолжались, отвлекая от диссертации. Понятно – приятное дело предпочтительнее не больно любимой необходимости. Повышение зарплаты, деньги для Бориса никогда не были выше истинного, естественного, природного удовольствия.

Через некоторое время рассказы его с её подачи прочитал ещё один ценитель. И он заговорил о публикации. Сам Борис никуда не ходил, никуда их не носил, но критик, который с похвалой отозвался о них, сам же и отнёс. В журнале понравилось, приняли. Самомнение Бориса повысилось, но диссертацию, худо-бедно, но писать продолжал.

С Верой он встречался всё реже и реже. Так получилось. Ну, уж не диссертация тому была причиной. Однажды, вечером она ему позвонила. "Боря. Говорю из метро "Арбатская", рядом с тобой, из медпункта. Мне стало плохо. По-моему внематочная. Вызывать скорую?" Боря пошёл, побежал к ней. Досада и полное неверие в это. Не верил – и всё. Не верил, вспоминая её поведение. Но она даёт ему понять – причина он.

Пришёл. На внематочную непохоже. Живот мягкий. Когда шупаешь, говорит, что болит. Да не так, как при внематочной. Брать на себя ответственность побоялся и увёз к себе в больницу на такси. Там тоже отвергли её диагноз. Гинекологи нашли кисту и сказали, что лучше оперировать. Но не срочно.

В журнале сказали, что напечатают сразу. Как у них говорят: с колёс.

Вера не хочет откладывать операцию в долгий ящик и всё убыстряет. Но категорически требует, чтоб оперировал Борис. "Я так хочу. Имею же я право требовать в сложившейся ситуации" "Вера, но пойми, в конце концов, это не этично: мы стараемся не оперировать своих

близких" "Был ты мне близкий. Сейчас можешь. Внематочной нет, а то был бы близкий. Я настаиваю. Всё-таки ты должен искупить и доказать, что ты..." "Ничего не понимаю. Что искупить? Что доказать?" "Доказать, что, по крайней мере, ты мне друг. В конце концов, если б не я, твои рассказы, так и оставались бы придатком этой дурацкой, как ты сам говоришь, диссертации" Борис сдался. Операция была назначена и внесена в график ближайшего времени. Пока Борис обходил её палату стороной. Накануне операции она сама его нашла и вызвала на очередной разговор.

"Боря, мне уже достаточно лет. У меня есть дочь. Больше я, ни при какой погоде, рожать не хочу. Живу я одна. Прошу тебя во время операции перевязать мне трубы. Хватит с меня беременностей и абортов" "Ты сошла с ума. А если ты снова выйдешь замуж?" "И в этом счастливом случае, о ребёнке и речи быть не может" "Но я такие вещи не имею права делать. Это, в конце концов, уголовщина" "А ты всегда делаешь только то, что имеешь право? А меня оставить ты имел право?" "Нет, нет, нет! Нельзя. Есть вещи, которые нельзя – и всё. Обратись к гинекологам. Приведи им какие-то доводы и пусть этим занимаются специалисты" "Нельзя! А то, что твоей неожиданной сексуальной агрессией ты сорвал мне весьма перспективный роман, это можно. Ты сломал сук, на котором я, казалось мне, прочно сидела. Извини, пожалуйста!" "Я не знаю, что тебе ответить. Вообще-то, я такой же агрессор, как и Израиль, начавший шестидневную войну. – У Бориса появилась реальная возможность сменить направление разговора. – Кстати, мы тоже с тобой встречались не больше шести раз. – И не воспользовался. Не сумел продолжить неожиданно возникшую тему. – Вера! Уволь, Вера, уволь. Давай закончим этот разговор" "Неужели ты будешь такой неблагодарной скотиной. Такой же, как и все. Человеческий стандарт. По твоим рассказам я была о тебе иного мнения. Потому и протезировала тебе в этом деле" "Причём тут рассказы?" "Притом, что всё в тебе на проверку, стало быть, фальшь. И твои обьятия, и твои рассказы. Оказалось, что настоящие человеческие движения души для тебя недоступны. Я думала о тебе, как о близком мне по духу человеке. Гуманист херов" Вера повернулась и пошла. Борис смотрел ей вслед и то ли увидел, то ли домыслил в её фигуре, в её походке столько горя и печали, что бросился вслед за ней. "Вера! Ладно. Я это сделаю. Но ты знай, что я иду на преступление и очень не хотелось бы, чтоб этим знал, хоть кто-нибудь, кроме меня и тебя" "О чём ты говоришь?! Родной мой! Всё же ты человек".

Операция прошла благополучно. Конечно, подтвердилось, что никакой внематочной там и не пахло. Кисту он удалил и, задушив голову помощнику, начинающему хирургу, сумел перевязать трубы, так, что он и не распознал это полупротивоправное действие. Вера через несколько дней выписалась... и исчезла. Сколько он ей не звонил, телефон молчал.

Вышли рассказы. К ним отнеслись благосклонно и знакомые и, даже появилось несколько благожелательных рецензий.

В конце концов, завершилась и диссертация. Ещё год после её окончания и Борис обрёл степень кандидата наук, а с ней и долгожданное повышение зарплаты. Можно и жениться, решил Борис, и подумать о кооперативной квартире. В расчёты вклинились уже и, родившиеся вместе с публикациями, литературные амбиции.

А Веры нет и нет. И не встречал её нигде, ни на страницах, ни в домах, ни на улице, и телефон по-прежнему молчал. Он её считал крестной матерью своих первых литературных поделок.

.....
А через несколько лет... Телефонный звонок:

– Боря, привет. Это Вера говорит.

– Господи! Откуда ты? Куда ты пропала? Я тебе звонил после... И нет нигде.

– Так уж я тебе нужна? У тебя же всё благополучно. И диссертацию защитил. И даже печатаешься с Божьей помощью.

– И с твоей подачи. Ты в этой моей ипостаси, так сказать, крестная мать. Помню...

– Ты всё помнишь, Борис?

– Ну. А что ты имеешь в виду?

– Боря, я вышла замуж.

У Бориса в груди что-то ёкнуло.

– Поздравляю. Рад за тебя. И кто ж твой избранник?

– Твой относительный коллега. Врач. Судебно-медицинский эксперт. Не в этом дело.

Боря, я беременна.

– Этого не может быть! А были ещё эпизоды без беременности?

– Мой муж хочет тебе задать пару вопросов.

– Но мы ж...

– Передаю ему трубку.

Избранник Веры говорил чётко. Вопросы ставил по всем правилам судебно-медицинской экспертизы. Уточнял технику операции. Просил выслать ему выписку из истории болезни с протоколом операции. Боря рассказал ему всю операцию, в том числе и то, что в протоколе не было.

А может, он записывал на магнитофон всё, что Борис рассказывал, и это станет...

Беременности, правда, не оказалось и на этот раз. Как, в какую сторону всё это можно повернуть? И кому, что в этой ситуации надо? Кто, какую цель преследует? Что, главное ли желание Веры выйти замуж, желание ли мужа её иметь ребёнка, или, может, вообще, мстительные эмоции крестной матери?...

.....

– Алексей Васильевич. У меня беда – И Борис рассказал шефу всю эту печальную уголовную историю.

– Как был дурак, так и остался, хоть и кандидат наук. Вот она твоя эрудиция. Не выше кандидата. Консервато-о-ория! Медициной надо заниматься, а не растрачиваться на... Вечно вы!.. Выписку не посылай. Сиди и не рыпайся. Если, что-нибудь двинется, то и мы двинем тяжёлую артиллерию. Подумаем. Дописался. Кандидат хренов. Иди... и не пиши.

Паравоенные мемуары

– Барсакыч, операции сегодня к часу закончить надо. Весь оперблок задействован на занятиях по гражданской обороне.

– Вот сейчас все брошу и пойду воевать.

– Да я ж говорю, до часу кончить.

– А если у меня непроходимость?

– Так ее ж нет.

– Будет.

– Тогда экстренная бригада займется.

– А чего там сегодня?

– Отработка мероприятий, на случай появления больного холерой или чумой.

– Ну, тогда ладно. Они вроде бы уже появились. Хотя пока и не у нас еще. А я думал опять мифические радиоактивные налеты.

– Ну уж мифические. Чернобыль-то не за горами ушедших веков. И не за горами будущих. Хм. Того и гляди, хватит еще. Кому ж готовиться, как не нам?

– Верно, конечно. Вы вот занимаетесь этим – вам виднее. Хотя, по правде, и мне бы надо знать побольше. Да уж так не люблю я всего, что к войне отношение имеет.

– Да причем тут война? Забудьте. То и впрямь были мифы. А сейчас всеобщий человеческий идиотизм мирной жизни. Грязь, разрушенная экология, разгильдяйство...

– Ну, верно, верно, Александр Витальевич. Ну, почему не побазлантишь? Привычка отбиваться от дурачеств прошлого. А нынешние дурачества еще не освоил. Ведь они в чем-то реалистичны. А я все еще там.

– Да все мы так. И я порой так же занимаюсь этим. Дурачествами.

– Даже праведная любовь не всегда оказывается правильной.

Александр Витальевич ушел. Я его зову Кутузовым нашей больницы. И не только потому, что он занимался военными и псевдов военными делами больницы, но и был большим дипломатом, лавируя между всеми нами, местным начальством и инстанциями "присматривающими". Он очень умело отступал перед, вечно давящим откуда-то сверху, начальством. Удачно выступал и отступал у нас в больнице. И в результате, мы на хорошем счету, в покое и спокойствии. Так сказать: "Ан, глядь, а мы в Париже с Луи де Дезире".

Далеко не сразу я понял благотворность нашего "Кутузова" для больницы и всех нас. Он беспрерывно что-то от нас требовал, а на самом деле все расписывал на отчетных бумажках сам, не больно-то отвлекая нас от основных занятий и забот. Ведь, вообще-то, где-то там, в заоблачных высотах, начальству нужны были лишь правильно составленные и разумные отчеты. А мы, сдуру, все больше о больных говорили. А нам отвечали: "Да это, само собой, разумеется, но вот.

Короче, он пошел своим путем, а я в операционную. Операция была типовая и проходила она типично, не сильно отнимая у меня силы моральные и физические. Все шло по путям, отработанным почти за полвека, стояния у столов. А потому, пока работали руки, мозг параллельно витал в воспоминаниях обо всем, так сказать, паравоенном прошлом моем. И началось с военных занятий в институте.

Пока шел разрез, остановка кровотечения, обкладывание салфетками, перевязывание нитками, прижигание электрокаутером, у меня в голове всплыла картина моего экзамена на военной кафедре. Принимал его у меня старый генерал в отставке. Про него говорили, что он в шестнадцатом году окончил юридический факультет Варшавского Университета и с той поры армию не покидал до самой старости, когда принялся передавать свой боевой опыт сту-

дентам медикам. Это и давало нам право, молодым кобелям, посмеиваясь и поглядывая на его чудачества, похмыкивать и повторять друг за другом: "Что делает армия с человеком!"

Смешной был, но добрый, да пожалуй, и не больно куртуазный старик. Ума палата!

Пока я сидел и готовился по билету к ответу, генерал проверял боеготовность и патриотизм экзаменуемой девочки. "Вас по заданию командования бросили в тыл к немцам!" – прокричал он вдруг. "Да" – прошелестев, подтвердила задание девчушка, тряхнув косичками, которые в ту пору были у каждой студентки, что поощрялось военной кафедрой. На прически, короткие стрижки смотрели косо, ибо возможная вычурность коротковолосости мало соответствовала их представлениям о патриотизме. Прическа – это не косы, это нечто космополитическое в глазах ревнителей приоритетов русской жизни и науки. "И для решения поставленной задачи, вам придется жить с немецкими офицерами!" Голос его звенел на уровне Левитановского чтения приказов Верховного Главнокомандующего. Девочка испуганно таращила глаза и торжественно молчала. "А!?" – настаивал генерал. "Что?" – ответила будущий офицер медицинской службы. "Вы б смогли?" – по-солдатски выпучив глаза, пронзал ее взглядом генерал. "Так точно, товарищ генерал". Все были удовлетворены – и генерал, и она, и мы, сидевшие в ожидании подобных проб на боеспособность. "Да-а, – с еще большим удовлетворением протянул экзаменатор, думая, по-видимому, как усилить проблему проверок и воспитания, – Вот вы в плен попадете – вас, как женщину, в первую очередь изнасилуют!" Напряженное молчание в экзаменационной аудитории. Генерал посмотрел на девочку и завершил: "Благодарю за отличный ответ" Девочка вспрыгнула со стула, вытянулась и отрапортовала: "Служу Советскому Союзу!" Кстати, через год студентка эта стала единственной сталинской стипендиаткой на нашем, курсе, где на обоих факультетах училось около шестисот человек.

А потом отвечал я, попутав строй батальона то ли в атаке, то ли в обороне, не уверено рассказав о методах чистки автомата, и, уж совсем неуверенно сочиняя преимущество карабина перед "винтовкой капитана Мосина", бывшей на вооружении нашей армии во время войны. Но генерал благодушно объяснил мне, что в рукопашном окопном бою карабин удобнее, потому как короче. Зато я бойко протараторил, что имел в виду Сталин, помяная в своей речи великих русских полководцев. Когда я сказал об их подвигах, боях, времени их существования, генерал с усталым видом перебил меня и то ли от радости и удовлетворения, то ли от переутомления от наших ответов и своих вопросов также поблагодарил за хороший ответ. Но потом, полистав журнал, призадумался и уж откровенно устало спросил: "А почему вы так много пропустили лекций?" "Дурак был, товарищ генерал!" Тут уж полным счастьем и удовлетворением засверкал лик генерала, выпускника юрфака из Варшавы, и я получил в зачетку свою, вполне, устраивающую меня отметку.

Все были довольны. Так сказать, паравоенные компромиссы. Ни ему, ни нам не хотелось бороться ни за чистоту военных знаний, ни за отношение достаточно уважительное к нашим персонам. Да тогда-то такое и в голову попасть не могло. Да и, вообще, бороться! Бороться, значит, не иметь собственной линии, а идти вслед, или против, но по кем-то проложенной дорожке. Борясь с чем-то, с кем-то обязательно нахватаешься немножечко того же и от тех же. С кем подерешься, от того и наберешься.

Ну, да ладно. Непроходимость, действительно, оказалась на уровне наших предоперационных предположений. Мы сравнительно скоро освободили кишки от спаек, и, не особо мешкая, двинулись к завершению операции. Началась опять стандартная, типовая часть работы и я, уж раз заведшись на одну тему, стал и дальше вспоминать военное прошлое моего, не познавшего фронта, поколения.

Мой товарищ учился в университете. Это был тихий отличник в школе и также продолжал поддерживать сей свой статус и в годы студенчества. В детстве отмечали его музыкальную одаренность... Ну, может, не одаренность, но некоторые способности, безусловно, были, что дало право маме обучать его игре на скрипочке. Хотел он этого или нет, маму не интересовало.

По тому анекдоту: какая разница между террористом и еврейской мамой? Ответ: с террористом можно договориться. Свой слух, забросив музыку, он в дальнейшем, спасибо все же маме, использовал для изучения иностранных языков. Говорят это качество способствует восприятию чужой мовы. А учиться он пошел по естественно-технической стезе.

Начались занятия на военной кафедре. Как отличник по духу, он сидел за первым столом у входа в комнату, где проходило обучение ратным делам. Вошел военный наставник во всем блеске погон и мундира, остановился у двери близ нашего героя и, согласно уставу, возгласил: "Здравствуйте, товарищи студенты". Обученные в школах детской подготовкой к войне за светлые идеалы, и, вспоминая демонстрацию родной военной мощи на парадах и в кино, группа дружно ответила: "Здравия желаем, товарищ полковник".

После занятий, мой, одаренный музыкальными способностями, товарищ обратился к своим одноклассникам: "Вы разве не слышите, что наш дружный ответ, не только сродни, но абсолютное подобие лая. Слышите? Гав-гав-гав-гав". Согласились и проверили звучание все вместе. Получается. Отличник, забыв, что прилежание входит в статус, заработанный им за годы учебы в школе, вдруг занялся саморазрушением: он предложил в следующее занятие ответить на приветствие, таким образом, и уверено утверждал, что никогда никто, будь это даже маршал, не заметит подмены. И все согласились провести эксперимент.

Розыгрыш вещь опасная. По крайней мере, не корректная. Розыгрыши всегда основаны на том, чтоб подложить кому-то подлянку, попортить нервы, жизнь, репутацию, обнажить не лучшие черты товарища или подчеркнуть хорошие. Вся группа договорилась прогавкать первый взыв, а дальше промолчать.

На следующем занятии полковник опять остановился около моего товарища. Произнес уставное приветствие. И в ответ услышал бодрый общий взрыв, а следом одиночный долгий лай студента, стоящего рядом, и, рождающего эти оскорбительно нечеловеческие звуки буквально ему в ухо. Мой друг, рассказывая нам про это, объяснил свое чрезмерно длительное гавканье ужасом перед предстоящей реакцией по окончании собачьего приветствия. От страха он не мог и боялся остановиться. Поэтому и протягивал несколько больше, чем понуждал его слух и лелеемое мамой музыкальное дарование. Полковник был точен и справедлив: "Пшёл вон". Печатающая шаг, – а мог бы, исходя из общей ситуации, пританцовывая – мой друг, уже бывший отличник, покинул аудиторию. Преподаватель сел, покачал головой, пробормотал, но довольно отчетливо: "Ну, все они... ну ничего в простоте... ну через всю жизнь нашу". И внес в журнал запись: "Студент Цейтлин нарушал дисциплину путем лаяния".

Через несколько дней последовал вызов на ковер к заведующему кафедрой, генералу. Кабинет был большой. Дверь была в одном углу – стол хозяина в противоположном, за которым он сидел и что-то писал. Тихий мальчик промаршировал, как его обучили, до середины кабинета, остановился и, четко назвав фамилию, отбил, что явился по высокому приказанию. Генерал сначала поправил, объяснив, что явиться может Бог, ангел, а солдат, студент может только прибыть. Но потом, переспросив фамилию, он несколько откинулся, как бы испуганно, вдавился в спинку кресла и уставился на прибывшее к нему явление.

"В чем дело? Как такое могло произойти?" "Я был нездоров, товарищ генерал". "Да вы знаете на кого вы лаяли!?" "Так точно. На полковника, преподавателя военной кафедры университета!" "Вы лаяли на заведующего отделом Военного Министерства Советского Союза, а не только вашего преподавателя!" "Не знал, товарищ генерал". "Вот так-то. Идите, и больше не лайте. Нездоров! А мы еще посоветуемся и решим".

На государственном экзамене по военному делу, как наш отличник не старался, как не барабанил чуть не весь устав наизусть, как не объяснял, точно и грамотно, устройства разных видов оружия, уход за ним, как не показывал свои обширные знания в области строя различных подразделений в различных условиях, как не бойко рапортовал, больше тройки ему получить

не удалось, чем разрушил столь долго хранимый и поддерживаемый им статус прилежного отличника. Да и стипендия – тютю.

Только начали мы зашивать живот, завершив туалет внутри его, как стали возникать крики курьеров, прибывающих из конференц-зала.

"Барсакыч, занятия начинаются. Пора всем в аудиторию". "Вы что не видите – мы не чай пьем!" "Народ ждет, Барсакыч". "Больше что-ли нет никого? Начинайте".

Когда я пришел в зал, занятия уже почти кончились. Александр Витальевич сделал успокаивающий жест, мол, все нормально, но все ж упрекнул шепотком: "Чего ж вы, Борис Исаакович? Лектор-то зав отделом министерства". "Я был нездоров, товарищ генерал". И я засмеялся. Мой смех "Кутузов" не понял и только плечами пожал. Видно, обидел я его. Зря, конечно – думать надо.

Лектор держал в руках халат, какие-то маски, очки, перчатки лежали перед ним на столе: "Если вы обнаружили в доме холерного больного, вы должны помнить о спокойствии населения. А то наденете этот противочумный костюм, выйдете на улицу, словно призраки и всех перепугаете. Сначала надо точно убедиться, что это действительно болезнь опасная. И вас, как инфицированных тоже надо будет в карантин... Знать, понимать и уметь надо, господа коллеги. Нельзя быть троечниками поверхностно думающими".

Я уже не слушал, а вновь стал вспоминать свое военное прошлое.

Последовательность

Ночь не удалась. День-то был спокойный. Всего троих привезли, да к тому же, как у них говорили, с транспортными диагнозами. Напишут, какой-нибудь аппендицит или холецистит или ещё что-либо достойное больницы. По приезде же оказывается, ну, скажем, запор, а то и всего только старость. Всего только! Эта-то штука вот как раз лечению и не поддаётся. Во всяком случае, не оперируется. А с полуночи повезли для работы. Где-то с двух часов до самого начала следующего рабочего дня Иссакач из операционной не выходил. Часов в восемь в операционную вошли шеф и Женя Мишкин. Борис уже зашивал живот очередного аппендицита.

– Ну, что мальчики? Что за люди! Не можете без кровопролития. Кончай. Пора на конференцию. Много было?

– Всё, всё. Последний зашиваю.

– Кровь проливать оставь тем вашим. – Шеф засмеялся и пошёл из операционной. – Воинственный народ оказывается. – Хмыкнул уже в дверях.

Борис в предоперационный снял перчатки, сбросил халат, фартук и вымыл руки.

– Ну, всё. Размылся. А ты чего смурной такой? И шеф хихикает не пойму, что он имеет в виду?

– Да ваши полезли войной.

– То есть? Какие наши? Какая война?

– Ну, Израиль шарахнул по Египту. Совсем очумели.

– Не дождались. Я думал египтяне начнут первыми. Они, ведь, уже блокировали Израиль.

– Чего им неймётся? И остальные вокруг включились. Вырежут же всех евреев. Ладно. Их забота. А у меня дома совсем плохо. Прямо, хоть домой не иди. Да мне в больнице и спокойней.

– Долго ты ещё будешь дурью мучиться. Да разведись. Уйди к ней.

– А у неё где жить? Тоже семья. И сын ещё... И её и мой. Всюду труба. Сдохнуть лучше.

– Что ты на самом деле. Радуйся минуте. Эх, Женя! Блядинки малой толики тебе не хватает.

На утренней конференции Борис без проблем сдал дежурство, а вот в ординаторской они застали бурный политический митинг. "Эти евреи совсем обнаглели. Куда они лезут?" "И всю историю они людям жить не давали". "Вот и получают. Воевать вздумали. Торгаши, ростовщики, а туда же".

Борис выскользнул из ординаторской и пошёл на другой этаж к Жене. Там тоже бушевали по поводу этой международной сенсации. Борис вошёл и все замолчали.

– Борь, ребята наши совсем охренели. Ты подумай, радуются, что евреям начищут рыло.

– Так, Евгений Львович, там пощекочут их, так и наши тут попритихнут.

– А что, Махмуд, мы вам здесь сильно мешаем?

– Борис дал себе зарок не лезть в эти споры, но не выдержал.

– Мы ж не о вас, Борис Исаакович. Вы другое дело. Вы ж и не похожи совсем, – робко и извиняюще сказал один молодой ординатор с кафедры.

– Может, вы и не причём, но ваши указания я отказываюсь выполнять пока идёт война, – это уже Махмуд, доктор сириец, работающий на кафедре. – Объявлен газават. Когда с Израилем покончат, тогда будет иной разговор. Нам скажут.

Боря с Женей вышли. Верней Борис резко прекратил разговор и вышел из ординаторской, а Мишкин рванул следом за ним.

– Не обращай внимания. Мало что этот сириец будет тут нам вещать.

Борис пошёл шефу. Махмуд был ординатор, учившийся по обмену, и подчинявшийся не больнице, а кафедре. И Борис Исаакович просил разъединить их. "Так лечить, – сказал он шефу, – нельзя. Отдайте его другому". "Ну, возьми ты" – предложил он Мишкину. "Нет, нет, –

взвился Женья – это будет предательством по отношению к другу". "Ну, развели сентиментальниченье! Работать надо. Это ж политика! Занимайтесь делом. У тебя же, Борь, операция. И иди. Мало идиотов что-ли?! – Шеф засмеялся. – А ты не лезь в чужую войну. Лезете вы всюду". "Мне должен ассистировать Махмуд. Как я буду оперировать?" "Беда мне с вами. Слона из мухи делаете. Я его позову сейчас, а ты бери другого в помощь. Может, ты, Женья, поможешь?"

Операция, резекция желудка, оказалось типичной, стандартной. Прошла без изысков. Так что друзья ещё смогли во время отработанных временем движений ещё и пошептаться, пользуясь эвфемизмами, чтоб сестра не поняла, о своих домашних проблемах. Женья о том, что делать и где жить и с кем. Боря, как и с кем работать, а с кем жить он знал. Это у него было отработано.

Он сбегал по лестнице к выходу из больницы, будто за ним гонятся. У входа стояла "скорая". Собиралась отъезжать. "Ребята, в каком направлении?" Он хотел домой, но машина ехала совсем в другое место. Но как раз там-то и жила одна из его подруг, с которой он не виделся уже, наверное, с полгода. Роман у них был краткий, но бурный. Расстались они не ссорясь, а так как-то у обоих объявились, так сказать, видно, другие мысли, идеи, приоритеты. Борис был в возбуждении после услышанной реакции на ту далёкую войну, что его-то задевала как-то, а уж ребят в ординаторской ну никак... Ан, вот как-то. "Кто ж я для них?"

Он позвонил в дверь. Открыла Алла сама. А собственно, кто бы мог ещё, если жила она одна. Полурастёгнутая блузочка, короткая юбка до половины бедра. "Извини. Я без звонка. Ты ждёшь кого-нибудь?" "Да нет. Проходи. Ты и без звонка желанный гость. А что вдруг? Проходи, не стой в дверях. И вид озверелый". Борис вошёл обнял Аллу и поцеловал. Сначала просто, как обычный гость при встрече. Но не отпустил ее и стал целовать яростно, будто нёсся на свидание, где уже всё готово для сладостной любви. Алла первые поцелуи перенесла спокойно, но потом оттолкнула и вывернулась из объятий. "Ты, что? Из голодного края? Борь, полгода прошло". Она, хоть освободилась, но не отошла, а стояла в той же близости, что и во время поцелуев. "Извини. А что нельзя? Мало ли, что я сделал не так за эти полгода". "Да нет. Ты же знаешь моё к тебе отношение". "Не обижайся, Аллочка" "Да нет. А что случилось?" "Да война в этом Израиле. Знаешь? Тебя она трогает?" "Да нет. А ты причём, кроме того, что ты кажется еврей. Да? Нет?" "Представляешь! Ребята у нас, так восприняли ситуацию. Я даже не пойму, но заведомо против евреев. Ещё ничего не зная. Вообще против евреев". "А тебе, что за забота? У нас и антисемиты есть. У нас страна богатая". Вот в том-то и дело, что они не антисемиты. Это и ужасно. Значит, поднеси спичку и... Представляешь!" "Да нет. Просто газет перечитали. Забудься.

Есть более важное в жизни". "Вот именно и опять обнял Аллу и вновь впился в губы. Она не отстранялась. Чуть откинулась. Одна нога приподнялась и согнулась. "У тебя губы солёные. Чего ты их так напрягла. Расслабься". "А ты будь зубами осторожней" Они легли на тахту... Борис так яростно накинулся на неё, будто это он и впрямь боролся с антисемитами, а не воевал с собственной энергией, которую мог направить на бойню, а использовал по самому лучшему пути. Это был какой-то танец-борьба. Они переворачивались, то он сверху, то она, то сбоку, то сидя. Будто музыка играла. И с юности в его голове всегда при этом, если буря, а не спокойный ветерок, звучал финал девятой, "ода к радости". Главный признак, что ситуация не проходная – очень сейчас нужная.

Потом они лежали и курили. Алла, сложив губы трубочкой, выпускала дым медленной и тонкой струйкой. Борис развлекался, выбрасывая толчками дым изо рта кольцами. Алла понаблюдала за дымным художеством Бориса, а затем стала пытаться своей тонкой струйкой пронзить Борисовы кольца. Но только Аллин дым доходил до кольца, как оно начинала недолго колебаться, деформироваться и исчезало. "Как дым, как утренний туман", – сказала Алла и выкинула сигарету в пепельницу. Струйка дыма от непогашенной сигареты поднималась кверху и уже в независимости от Аллиных стараний проникала внутрь кольца. "Не надо

стараться, тогда всё и получается" – почти прошептала Алла. "А ты не философствуй, а кури в своё удовольствие и не думай лишнего". "К вам это, маэстро, тоже относится. Ребята у тебя, как ребята. К тебе относятся нормально. Это ты вдруг увидел, что дымом со стороны можно попасть в кольцо". "Выход, Аллочка, мы с тобой сейчас нашли". "Если только не вход в новую проблему". "Проблема! Но проблем-с, так сказать". "Это и есть новая проблема" "Больно, ты серьёзная. Давай жить проще". "Только что ты метался и не знал, как быть и что делать. Нашёл выход?" "Я же тебе говорил, что нашли".

Закончился первый день.

Настроение в ординаторской было другое. Махмуд, вообще, прекратил всякие разговоры с Борис Исааковичем и демонстративно отворачивался, а то и уходил, как только появлялся объект газавата. "Ну, евреи дают! Кто бы мог подумать". "Взяли какие-то пункты, сообщили". "Не скупочные, как привыкли". "Вообще, добровольцев надо туда. Это им тогда не с арабами воевать. А с нами" Боря не выдержал: "А ты хороший воин, обученный?" "А евреи что, обученные?" "А ты не видишь?" "Не может такого быть. Вот посмотрим, что будет завтра. Эффект внезапности. Те же были не готовы". "Конечно! Блокировали страну. Грозили непрерывно. Не сегодня-завтра должны были начать. Просто израильтяне их обогнали на один шаг". "Ладно, ладно. Послушаем завтрашние песни. Судя по новостям, у них уже нет ни танков, ни самолётов". "В Сирии ещё, в Иордании есть". "А вам что, ребята, так уж хочется, что бы евреев вырезали?" "Всех не вырезать". "А на пару десятков тысяч вы лицензию на отстрел даёте?" "Так война же, Борис Исаакович. Но вообще-то молодцы. Уважаю. Не то, что наши".

Борис с Женей уединились в кабинете.

– Жень, что делается с ребятами? У нас же всегда были нормальные отношения.

– Да, ерунда. Нашпигованы пропагандой. Арабы друзья, мы им плотины там строим. А вспомни Венгрию. Тоже орал, что ни попадя.

– Да они ж не про Израиль – они сразу же про евреев. А этот Махмуд. Он ведь поддерживает ребятами. Ты понял? Их уважает, не то, что наших. А?

– Не обращай внимание. Вот не знаю, как мне жить. Не могу я так просто взять и уйти. Остаться нет сил никаких. Ночь провёл больнице. Придумал срочную операцию. Будто бы без меня не справились. Из дома звонили – просил сказать, что я в реанимации занят. Слава Богу, сегодня дежурю. Проблемы! Проблемы.

– Но проблем-с. Вчера я нашёл выход. Думал, что нет проблем. Ан, новые появляются. Нет выхода, Жень.

На следующий день ребята уже не ждали победных песен наших союзников. "Борис Исаакович! – рассмеялся один из докторов – Наши расколотили наши танки" "Без нашей помощи им точно израильтян не одолеть" "Подняли нос, воюя с дикарями" "Говорят, те толпами сдаются в плен" "Конечно, с танками, ракетами да против рогаток, что-то там взрывают... Что ещё дадут дикарям?" "Да вы что, пацаны?! – Женя вступился за евреев. – Они же в первый день уничтожили все танки и самолеты египтян. Дикари! Вам всё, что не русское, то..." "Ничего. Израильтяне погуляют, отыграется им..."

Боря вышел. Женя выбежал следом.

– Отыграется! О чём они, Жень? Ксенофобы.

– Вот именно. Даже не антисемиты.

– Неизвестно. А что ты им стал объяснять? Зачем?

– Правильно. Чего я с быдлом связался. Быдло оно быдло и есть. Нашёл с кем дискутировать. – Женя с досадой махнул рукой... Будто муху путался отогнать.

– Да ты что? В высокомерии – это нас, евреев обвиняют. А ты-то чего? С кем подерёшься от того и наберёшься.

– Вот смотрите. Вот именно. – Женя засмеялся. – Как бы евреи ваши от арабов не набрались. Как мы, русские дворяне, поднабрались от быдла. Со смердами не надо дискутировать.

Это не высокомерие, а реальная задача. – И опять засмеялся. – И быть последовательным. А ты смотри, они уже не евреи говорят, а израильтяне.

– Ну, трудно им представить, что евреи могут хорошо воевать. Они ж говорили раньше, что во время войны евреи отсиживались в Ташкенте. У меня почти все дядьки на фронте были. И знают же.

– Каждый слышит, что ему хочется услышать. Но ведь не все.

– Вот именно. Очень странно. В основном те, что работают рядом с Махмудом. Странная товарищеская солидарность. И со мной у всех хорошие отношения. Ладно, будем работать и кровь проливать по-своему и для других целей. Правильно. Будем последовательны. Как твои дела домашние?

Женя не бежал, не нёсся сломя голову. Он знал куда шёл. Знал, на что шёл. Знал, что его ждёт... Проблема его ждала: надо уйти к Гале, нельзя уйти из дома. Нельзя оставить сына. Сил не хватало дома даже заикнуться на эту тему. И не поймёшь, соображала ли Наташа, что не только больные были причиной его позднего возвращения домой, а то и отсутствия в течение всей ночи.

Галя увидела его из окна и, когда он подошёл к двери, она уже была открыта. "Заходи, заходи. Что ты еле перебираешь ногами?" "Устал что-то". "Ну, ладно. Устал. Не выдумывай. На тебе ещё пахать можно. И сегодня". "Пахать-то можно, а вот..." "Есть будешь?" "Представляешь! Борька совсем сдурел". "Что у вас там опять?" "Не у нас. Война эта у евреев. Наши ребята сочувствуют арабам. Ну и еврейская тема". "Ну и что? Причём он". " Не поймём мы, наверное, их реакцию, на каждое упоминание евреев". "Зацикленное племя" "Били много. Короче, Боря озверел". "Наша проблема, Женя, более важная. Жизненная". "Как тебе сказать. Там много жизней решается. Представляешь, если сейчас на этой волне поднимутся антиеврейские беспорядки". "Ладно. Это дело Бориса. А нам, как решать?" Женя вздохнул, лёг поперёк кровати и выдохнул: "Выход? Да, хоть как. Не дави на меня". Галя легла рядом. Она знала один способ смягчить и Женю, убаюкать его метания и сдвинуть их в нужном направлении. "Потом поедим, ладно?" Она была последовательной.

И второй день войны закончился.

– Домашние? Хуже некуда. Знаешь, мне тут звонили – набирают добровольцев в Египет. Плюну на всё и уеду. Это выход. А?

Выход всегда находится. Хотя, если по анекдоту, то есть всегда два выхода. Но готов ли Женя, да и мы все к выборам? Лишь когда один выход. Тогда легко. Боря с ужасом смотрел на друга. "Ты хороший выход нашёл. – Он повернулся и пошёл к входу в операционный зал. – Война всегда выход. Особенно с евреями" "Борь, – крикнул ему вслед Женя – евреи-то причём?" Борис остановился, развёл руками с полупоклоном – "Они всегда не причём... Но это потом оказывается. На этот раз причём. Пошли оперировать".

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.